

Григорий Каковкин

Мужчины и женщины существующей

Мужчина и женщина

Григорий Каковкин

Мужчины и женщины существуют

«РИПОЛ Классик»

2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Каковкин Г. В.

Мужчины и женщины существуют / Г. В. Каковкин — «РИПОЛ Классик», 2015 — (Мужчина и женщина)

ISBN 978-5-386-13805-9

Сильный, яркий, большой роман о любви: история героев завязывается на сайте знакомств в Сети и продолжается в реальной жизни. Где сейчас знакомятся интересные люди? В Интернете. Книга похожа на первый ноябрьский лед – тонкая, прозрачная и хрупкая. И еще реалистичная. Почти детективный сюжет, яркое эмоциональное и философское наполнение дает возможность читателю романа Григория Каковкина подумать, что современной литературе снова есть что сказать, она исследует и находит героев. Мужчины и женщины существуют – это стержень всей жизни, убери его – и все растворится, растает, превратится в плесень, цвета потеряют цвет...

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-386-13805-9

© Каковкин Г. В., 2015
© РИПОЛ Классик, 2015

Содержание

Мужчины и женщины существуют	6
1	7
2	9
3	11
4	14
5	16
6	19
7	23
8	24
9	27
10	29
11	31
12	34
13	35
14	43
15	46
16	49
17	51
18	53
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Григорий Каковкин

Мужчины и женщины существуют



© Каковкин Г. В., 2015

© Издание. Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021

Мужчины и женщины существуют

Все может быть подвергнуто сомнению. Все! Правительство, дума, финансовый кризис, географическая карта, границы государств и их секреты, демократическая система, даже деньги, в конце концов. Потом еще дождь или снег – он может быть или не быть, но женщины и мужчины – они существуют. Это вечное и самое разительное разделение, определяющее решительно все. Даже упомянутый дождь (снег) за окном, казалось бы, реальность, как сказал бы философ, данная нам в ощущениях, но и тот совершенно разный. Если на него смотрит женщина, одинокая, невысокая, мягкая, с детским открытым лицом, с голубыми глазами, – говорят, что таких не бывает, – и большим бюстом, как у фарфоровых статуэток времен СССР, – это один дождь. Или один снег.

А если мужчина: он смотрит в окно? Его, как ни описывай, надо начинать с чего-то другого. Не с глаз, не с носа, не с лица, не с мускулов. Главного сразу не назовешь – другое.

Мужчины и женщины существуют. Существуют только мужчины и женщины. Это начало какого-то засекреченного аристотелевского силлогизма с двумя классическими посылками и выводом.

Первая посылка, наверное, должна звучать так:

«Мужчины и женщины существуют». Вернее, «существуют только мужчины и женщины».

Вторая посылка. Какая она может быть? «Я женщина». Или? «Я мужчина». Неизвестно. Непонятно, как он составляется. Вывод: «Следовательно...» Что следовательно?

Сплошная путаница.

Не получается. Ничего нового. Не сходится, как не сходятся «он» и «она». Силлогизм еще надо составить. Он требует работы. Может быть, невыполнимой работы. Рассуждениям мешает тонкая, завораживающая линия ее груди, утягивающая в неизвестность, приникающая или унижающая другую, такую же трагически воображаемую любимую линию – линию горизонта.

Существуют только мужчины и женщины – это точно. Существуют только они – мужчины и женщины. И долго. По-бibleйски долго. Во всем остальном можно обоснованно сомневаться.

1

Когда родилась, она уже знала, что она женщина, с первой минуты своего младенческого крика, ее «а-а-а» не только физический акт, определенное колебание воздуха, но знак какой-то миссии, какого-то особого качества. Отражаясь от стен провинциальной, еще когда-то земской больницы, он летел в сад, усыпанный опавшими яблоками, звенел в ясном сентябрьском небе, входил в сердца всех мужчин Червонопартизанска как весточка от расцветшего утром цветка: я здесь, я буду здесь, я всем вам назначаю свидание.

Ее подвыпивший отец вечером пришел в больничку и, нарушая всякую санитарию, про ник к жене. И она ее показала. И новый папаша, дыша перегаром, изрек:

– Девка. Во-о! Точно, девка!

Он прочитал это на лице дочери, которое поразило его пьяное воображение своей красотой и спокойствием.

Потом пошел к шахте. Закупив пару бутылок водки, выждал мужиков из смены, чтобы с ними отметить. Он не был взволнован или счастлив, он просто знал, что в его жизни произошло «это». Произошло то, за что стоит выпить. Это – законно хмельной день, потому что все остальное совершалось каждый день из года в год, а здесь родилась дочь, хотя он, конечно, хотел сына, но «какие мои годы, пусть сначала будет девка», рассуждал он про себя, а потом так и сказал мужикам, вышедшим из забоя:

– Пусть сначала будет девка!

Сказал, считая, что присутствует в начале собственной жизни, а не в ее конце.

И когда спустя несколько дней малышку принесли домой и развернули, он еще раз с радостью констатировал:

– Все нормально. И это место не поперек, а как положено – вдоль.

Место услышало, что говорят о нем, и тут же откликнулось, выпустив изрядную порцию прозрачной грудничковой мочи.

Так родилась Милка, или впоследствии Людмила Ивановна Тулупова, уроженка Червонопартизанска, что был тогда «на» Украине, а теперь «в» Украине.

Надо сказать, когда Людмиле Ивановне Тулуповой удалось впервые прочувствовать свое имя, отчество и фамилию, некоторое время прожить с ними, ей категорически не понравилась первая часть – Людмила, Люда, Люся, Мила, – множественность, мягкость, простота и глуповатая торжественность одновременно. «Меня зовут Людмила – что это такое?»

В общем, с именем, по прошествии лет стало очевидно, ей совершенно не повезло. Из возможных вариантов она выбрала – «Мила», тем более что с ее детских губ оно однажды слетело легко. На вопрос «Как тебя зовут, девочка?» с года шести месяцев, моргая голубенькими глазками, отвечала: «Мива». Взрослые, пристававшие с этим классическим вопросом, умилялись: ребенок, ныне сказали бы, рекламный, о себе говорит – мива я, мивая. И уже став взрослой, знакомясь с мужчинами, она представлялась Милой. Впрочем, для женщин, встречавшихся на жизненном пути, она была или Людой, или Людмилой, и только особо доверенные подруги сами почему-то переходили на Милу. А Марина Шapiro, сыгравшая в ее жизни важную роль, с первого дня знакомства только так и звала.

К отчеству она относилась нейтрально, имя «Иван» не оспаривала, хотя и не сказать, что любила. Среди мужчин, для которых она, может быть, и пришла в мир, не было ни одного Ивана, кроме ее отца, разумеется. Может и это сыграло свою нерадостную роль в ее женской судьбе?

Но фамилия Тулупова ей, безусловно, пришлась. Сначала нравилось, что во всем Червонопартизанске начала шестидесятых годов прошлого века она одна с такой фамилией. Когда в восьмом или седьмом классе ей неожиданно открылось, что фамилия ее историческая, восхо-

дит к удельным стародубским князьям, Рюриковичам (пятнадцатый век!), она почувствовала всю величественную глубину крови. И хотя история говорила, что князь Дмитрий Давыдович Палецкий по прозванию Тулуп, родоначальник князей Тулуповых, был убит под Казанью в 1575 году, а его сыновья Борис, Андрей и Владимир были казнены по приказу Иоанна Грозного, Людмиле Ивановне казалось, что чудом кто-то из Тулуповых спасся и она и ее родители, отец – шахтер и мать – повар, все же имеют какое-то отношение к пресекшемуся много веков назад роду.

Когда она девочкой рассказала отцу о своем историческом открытии, шахтер-князь сказал:

– Не забивай себе голову этой дрянью. Мы рабочий класс, рабочие – одним словом. Ну, может, мои деды и были крепостными у этих Тулуповых – и что?

Миля не хотелось быть крепостной. Но она, свято не веря в княжеское происхождение, все же сообщала каждому новому мужчине о своей исторической фамилии и просила не связывать Тулупову с тулупом, который, как пишет советская энциклопедия, есть «овчинный нагольный тулуп, предназначенный в качестве спецодежды для защиты работающих в различных отраслях народного хозяйства от ветра, низкой температуры и атмосферных осадков. ГОСТ 5201-69».

2

Дорога.

Ее первая дорога из родного Червонопартизанска была проложена наскоро, но неслучайно, словно по грунтовке рельсы для трамвая кинули. Его, правда, в шахтерском городке и не видел никто, так что сравнение хромает. В те годы тут даже не ходил ни один городской автобус! Только в период самостийности, когда Мила приезжала навестить мать, появился единственный кольцевой маршрут. Старый ЛукАЗ с застывшей стрелкой на спидометре в положении тридцать пять колесил от ближайшей железнодорожной станции «Красная могила» по улицам Гагарина, Котовского, Либкнехта, Сакко и Ванцетти и снова возвращался к вокзалу, так принято было называть кирпичную одноэтажную постройку с цифрой 1915 на торце.

Тогда, в тысяча девятьсот шестьдесят каком-то году, в жареный август, они собирались к родне в закрытый город Желтые Воды, который прозвался «коммунизм». Здесь, под Днепропетровском, делалась начинка для баллистических ракет, и магазины не нанесенного ни на одну официальную карту СССР города ломились от яств – трех сортов сыра, трех сортов колбасы, мяса, рыбы и множества болгарских консервов. Все это называлось «снабжение первой категории». Первая в СССР фабрика искусственного меха дополняла изобилие и благополучие всех, кому посчастливилось тут жить, – зимой все мужчины и женщины одевались в трехчастный ассортимент передового предприятия «группы Б»: три вида мужских и три вида женских шуб.

Миле было три с половиной года. Она была убедительным доказательством того, что красота существует. Спасет ли она мир или нет – неизвестно, но любому посмотревшему на белокурую девочку становилось ясно – существует точно.

– Мать, у кого ключи? Дверь-то закрывать будешь или так оставишь: воруй, мы уезжаем! Людка! В коммунизм поедем, дочка? – И отец подхватил ребенка на руки.

– Да. К Павлику, – обрадовалась Людка.

– Вот, в коммунизм все хотят, – подмигнув матери, сказал отец. – Правильно! К Павлику едем.

Для Милы Павлик – пятилетний мальчик с групповой черно-белой фотографии, в которую много раз тыкали пальцем и говорили:

– Вот, Людочка, это твой двоюродный братик, к нему мы скоро поедем.

– Жених, одним словом, Людка, жених, – подвел убедительную черту отец.

Мать закрыла дверь и отдала ключи стоявшей рядом подруге Свете, чтобы она поливала цветы на окнах и вообще «если что...».

Уложили сумки в мотоцикл «Урал». Мать с Милой – на почетном месте в коляске, а Иван Тулупов – за спиной бригадира проходчиков Григория Ивановича Прокопенко, соседа и счастливого владельца мотособственности, он взялся подвезти на станцию. Ехали минут пять, но за это время Мила навсегда полюбила дорогу: теплый ветер – в лицо, солнце – в глаза, мелькание домов, заборов, людей, шум мотоцикла, заставлявший оборачиваться и смотреть на отъезжающих счастливцев. Дорога соединилась у Милы с праздником, который можно устроить так просто: встать, собрать вещи, закрыть дверь...

На Красной Могиле долго ждали всегда опаздывавший пассажирский поезд. Потом он приполз. Прокопенко за три минуты стоянки помог затащить вещи, подсадил Милу, расцеловался с соседями и вообще обеспечил ритуал по полной программе. Тронулись – он махал, ему тоже. Тепловоз предупредительно гуднул, разгоняя вокзальных собак, и началась Милкина жизнь.

Ехать надо было всего километров двести, правда, очень неудобно, с пересадками, ожиданиями, но именно такая детская по расстоянию дорога отложилась в ее бессознательной памяти как счастье, приключение и освобождение от чего-то рутинного, скучного.

– Пис, пис, пис, Людочка, пис-с-с...

В грязный выгребной вокзальный туалет на пересадке зайти было невозможно, и пристроились, чуть отойдя в сторону: мать держала дочь под ножки, а Мила смотрела по сторонам и ужасно стеснялась, не зная еще, что это так называется. Хотела, но не могла.

– Пис, пис-с, пис-с-с-с... – Буква «с» становилась все длиннее. – Ну вот, умничка, пис-с-с...

И это тоже стало частью образа дороги, он многократно потом повторялся в ее жизни – брезгливость от вокзальных туалетов, их многотонный запах и всякий раз мука, когда возникает физиологическая потребность.

3

Павлик, как увидел Милу, сразу взял ее за руку и повел в свой угол, где в определенном порядке были расставлены оловянные красноармейцы, танки и самолеты с красными звездами.

— …только не давай ей ничего в рот брать, она у нас еще маленькая, — забеспокоилась мать, расцеловываясь с сестрой и ее мужем — одноруким инженером по технике безопасности.

Несколько лет назад, работая на урановом руднике, он оказался на пути сорвавшейся с цепи вагонетки, и Михалыча раскрошило основательно. Руку ампутировали сразу, а потом еще целый год склеивали по частям, и он, к удивлению, склеился, как пластмассовый. Стал даже еще более жизнерадостным и пронырливым.

— Все могу достать. Надо шубу — пожалуйста! Надо ковер два на три — вопросов нет, обращайся, Иван, мы родня, а не хрен собачий, — говорил он в тот августовский теплый вечер, когда закусывали и выпивали. — Я прихожу прям к директору промторга. Хлоп — пузырь на стол левой рукой и прям сразу говорю, что мне, шахтеру, надо. И никакого дефицита! Что я в Киев или Москву, что ль, буду ездить? Давай! За них!

Мужчины выпили вместе с женами и посмотрели на играющих в углу детей. Мальчик Павлик и девочка Мила, сидя на полу, играли, почти молча, почти не двигаясь, будто позируя невидимому художнику, который, скорее всего, должен быть немцем, рисующим сладкие рождественские открытки. Родители глядели на них и боялись чем-нибудь вспугнуть — это была та редкая, живая картина, ради которой мужчины и женщины, должно быть, и рожают детей.

Те дни в гостях Мила и Павлик не отходили друг от друга. Он взял ее за руку и повел в небольшой яблоневый сад, на грядки рядом с домом, и что-то объяснял детское, невнятное и очень простое:

— Здесь у нас растет тыква. Вот она. Сейчас она зеленая, а потом будет желтая.

Мила слушала пятилетнего энциклопедиста словно в гипнозе. Не переспрашивала, не отвлекалась, не искала глазами мать или отца, чтобы проверить, рядом ли они, — она от них ушла, как уходит взрослая дочь, выходя замуж. Остался только Павлик — великий, всезнающий мальчик, названный магическим словом «жених».

Родители днем ходили по магазинам, вечером сидели за столом, выпивали; дети были всегда с ними, стояли в очередях, ждали, когда отцы пропустят по кружке пива у большой желтой бочки, и вели себя идеально послушно: не слышно — не видно.

Несколько дней так прожили в Желтых Водах, мешали водку и пиво, варили раков, примеряли купленные наряды, вечером за столом сидели допоздна, а потом раз — снова оказались на вокзале, и Павлик сказал:

— Приезжай еще, Мила.

— Хорошо, я приеду, — не по-детски серьезно ответила Мила, как будто это зависело только от нее. — Приеду и скажу: здравствуй, Павлик.

Когда Тулуповы сели в вагон, чтобы отправиться после четырех дней гостевания в свой Червонопартизанск, и отмахали руками через открытое окно положенное, хмельной отец спросил просто, как спрашивают трехлетнего ребенка, проверяя сообразительность:

— Ну что, понравился мальчик?

— Осень, осень хороший, — ответила трехлетняя дочь, глядя на промелькнувший за окном городок.

— То-то же, вот! Говорил — жених твой! — сказал Иван Тулупов, устраиваясь на боковой полке плацкартного вагона, и тут же заснул.

Мила тоже быстро уснула, сморенная насыщенной совместной жизнью, но матери почему-то не спалось. Хотя она была просто устроенная женщина, засыпала, едва присев; она любила семью, любила дочь, любила мужское внимание, любила делать все, что делали

в эти дни: покупать, вернее, тогда называлось «доставать», загорать на берегу реки, дружить семьями, делиться женскими секретами с сестрой, вкусно готовить, выпивать с мужьями и их останавливать; широкое, огромное чувство родства, которое грело в этой поездке, теперь снова сжалось до семьи, крепко спящей в полупустом вагоне. Мария Тулупова, повар червонопартизанского интерната, думала о своей старшей сестре, преодолевшей все несчастья, и хотя муж инвалид, но мужик-то нормальный, веселый, да и под штанами, как дала понять сестра, все как надо, а сыночек – так просто ангел. «Как хорошо, как хорошо», – под стук колес глубокомысленно на разные лады крутилось у нее в голове.

А через семь месяцев, в начале весны, пришла телеграмма, приглашавшая прийти на междугородний переговорный пункт – в Червонопартизанске тогда в квартирах телефонов не было, – и соседка сестры, с которой летом познакомились, сквозь рыдания произнесла ужасное:

– Павлик... Павлик... Павлик утонул, под лед Желтой речки провалился...

В тот же вечер Мария, Иван и Мила выехали на похороны. Хотели оставить ребенка, но не на кого, неизвестно, когда вернутся, как там сестра с мужем – может, неделю, а может, и больше придется пробыть.

Миле ничего не объяснили. Она спросила:

– Мама, мы к Павлику едем?

– К Павлику, к Павлику, – ответила мать и зарыдала.

Теперь дорога была долгая и грязная. Зимой Прокопенко не ездил, мотоцикл ставил в сарае, и до вокзала шли и мерзли. Степной ветер, при плюс один, пробирал до костей, как арктический. Соседка Света поддерживала Марию, Иван нес дочь на руках, Прокопенко тащил фибровый чемодан с вещами. Фонари раскачивались и скрипели, разбрасывая свет по безлюдной улице, по лужам, снегу и унылым заборам.

Весь путь Мила спала, будто из деликатности. Может, так на нее подействовали слезы матери и тяжелое, горестное дыхание отца. Спустя многие годы мать часто вспоминала интуитивно точное поведение дочери:

– Удивляюсь, какая ты, Люд, была. Молчишь, глаза такие... и ничего тебе не надо, и ничего не спрашиваешь...

Проснулась только в церкви на руках у отца.

Сладкий запах лампад, свечи горят, из непромытого окна – свет, и в центре большой, взрослый гроб с телом Павлика. Хотя в Желтых Водах и был коммунизм, но маленький гроб для мальчика сделать было не из чего – решили положить в готовый, имевшийся наличий в ритуальной kontоре. Из-за сверх меры нарумяненных в морге щек он напоминал живого мальчика, только еще более правильного и послушного.

Мила видела, как ходит вокруг гроба священник, как нараспев произносятся им какие-то непонятные, длинные слова, и, конечно, не понимала и не могла понять, что происходит. Уже взрослая она придумывала себе свое детство, потому что никто не знает, каким оно было на самом деле, какое событие или впечатление действительно определило жизнь, а что наростили позже в бесконечных семейных пересказах, в случайно сохранных фотографиях – никто не в силах отделить реально сформировавшее детство от его экспортного исполнения. Никто! Ей казалось, она прекрасно помнит ту картинку в церкви. Лампады, свечи, свет, большой гроб с телом ребенка, в ноги которого родители Павлика положили его игрушки – танки, самолеты, солдатиков, большой железный самосвал. Мила уверяла, что до мельчайших подробностей помнит она и то, как летом в жару ходила с Павликом по саду, как вечером тихо играла с ним в углу комнаты, около дивана, а родители посматривали на них и ужинали за столом, рядом.

– Господи, боже мой, – стоали женщины, выходя из церкви. – Боже мой...

– Вот, видишь, что получается с непослушными детьми, – сказал отец, когда садились в разбитый ритуальный автобус. – Был тебе жених – и нет...

Подошел Михалыч и своей единственной левой рукой быстро, будто прощаясь, погладил беленькую Людмилину головку. Слезы хлынули из его глаз, и, давясь от горя, он произнес:

– Теперь... ты...

Иван вдруг покернел внутри – что значит «теперь ты». «Нет, не отдам. Моя!» Но только он это подумал, Михалыч закончил фразу:

– ...ты – теперь наша дочка.

Это была первая ее женская история. И потом, когда уже все дотерто до дыр, дорассказано, доболтано, довспомнено, когда трогающая душу история превратилась в словесный узор, в настенный календарь, она, крепко подвыпив, сказала, вспоминая своего первого мальчика:

– ...в три с половиной года я стала вдовой.

4

Первое свидание. Это было первое свидание в ее новой, как она считала, совершенно новой жизни.

Компьютер Тулупова освоила лет семь назад, когда в Музыкальном институте имени Ипполитова-Иванова ввели электронную регистрацию библиотечного фонда. Как заведующую библиотекой, ее отправили на курсы, и через месяц она уже начала вбивать по пятьдесят (такую планку себе поставила) наименований в день нотных альбомов, книг по истории и теории музыки, учебников, самоучителей игры на инструментах, методичек и курсов по всем музыкальным специальностям. Иногда Людмила Ивановна, отыскивая регистрационный номер, открывала книгу, чаще довоенную, скопую на краски, с желтыми, ломкими страницами и неожиданно для себя пропадала в тусклых рисунках, в мелких подписях к ним, в нотах. Они уводили ее в мир закрепленных в графике звуков, в тайну неизвестных слов «квинта», «терция», «гептакорд», «фермата».

Приблизительно как «гептакорд» – семь ступеней музыкального звукоряда, к ней пришло и слово «Интернет», которого она долго боялась из-за произношения, из-за окончания «нет», и, только когда дочь криком сняла этот гипноз, она поняла, что за этим скрывается.

– Ма, это просто телефонная трубка! Телефонная трубка так называется. Называется – Ин-тер-нет. Ты мне звонишь по телефону, тоже иностранное слово, кстати, и что!? Мы с тобой разговариваем… а ты мне напишешь, пришлешь по Интернету – все!

Этот разговор произошел перед отъездом дочери в свой первый отпуск за границу, в Грецию. Дочь с режущим ухо именем Клара – Людмила так и не смогла к нему привыкнуть: когда она сообщала, как зовут девочку, каждый произносил омерзительную, преследующую ее всю жизнь скороговорку про вора Карла, что украл кораллы, – Клара тогда и научила мать пользоваться Интернетом. Мила возбудилась, какая у нее умная девочка получилась – рассудительная, взрослая в двадцать два года. «Замечательная, красивая, умная, и не поймешь в кого» – такая нескромная мысль ей приходила часто…

Тулупова быстро сообразила, что такое удаленный сервер, подключение, логин, пароль, и вошла в Сеть, легко отправив первое сообщение через километры и моря:

«Мы с твоим младшим братом, который дома теперь не ночует, волнуемся за тебя и переживаем, как там греки на тебя, нашу красавицу, не бросаются?»

Разумеется, брат и не думал волноваться, но Людмила, сидя дома одна, всегда вставляла в свои письма несколько слов о брате, напоминая, что ее дети должны держаться по жизни вместе, должны волноваться, переживать, справляться о здоровье друг друга, должны быть родными. Она нередко думала о волшебном, теплом чувстве родства. Тулуповой хотелось, чтобы оно было для них важным, осязаемым, а у нее самой дети выросли, она одна – рядом ни души. Хотя свободного времени теперь стало больше, но электронные письма неожиданно получались короткими, куда короче тех, что она писала раньше на школьных тетрадных листах из Москвы к родным в Червонопартизанск и Желтые Воды.

Собственно, когда дочь уехала, а сын только звонил раз в день и ставил в известность: с ним все в порядке – волноваться не стоит, она и зашла в Сеть и, не предвидя еще последствий, кликнула на постыдное слово «знакомства».

Заполняла анкету поиска, каждый вопрос становился экзаменационным. «Я» – она хотела написать «женщина», а программа ее молниеносно поправила «девушка». «Какая девушка, Господи? Была очень давно. Случилось это после выпускного сразу, где-то через неделю, наверное…» – вспомнила она, но программа уже настойчивым подмаргиванием спрашивала: «ищу». Ей хотелось набрать «мужчину», но подсказывали выбор: «парня», «девушку» или «пару М+Ж». Дальше «возраст» от и до. Этот вопрос оказался еще сложнее. Вот ей,

Людмиле Ивановне Тулуповой, далеко за сорок, а кто ей нужен? Муж? Любовник? Мужчина на одну ночь? Кто? Да никто! Вот когда покупала холодильник в спешке, потому что старый неожиданно сломался, она видела, как разгоряченные супружеские пары ходили вдоль образцов, хлопали дверцами, щупали, жестикулировали, советовались и рассуждали, тогда она хотела иметь мужа, потому что сыну и дочери все равно, какой холодильник покупать, брать ли кредит, может, стоит еще поискать. Дети стояли рядом без всякого участия, как нанятые грузчики, а ей хотелось поговорить, обсудить марку, цену, цвет... Любовника – тоже можно. Вот недавно сидела в библиотеке, а из репетиционных залов доносились звуки разучиваемых партитур, к ней такие мысли приходили: вино, свечи, музыка, дальше лучше не продолжать...

В тот самый первый пробный раз она написала, не задумываясь: «От восемнадцати до ста», но три цифры не были предусмотрены и она поправила – «девяносто девять». «Где?» – спросила программа. «Во всем мире». А дальше Людмила кликнула «искать».

Через секунду на экране выстроилась длинная лента из фотографий с именами, как она сразу заметила, вполне нормальных и даже красивых мужчин. Она открывала анкету за анкетой, увеличивала фото, всматривалась в лица, стараясь представить его жизнь, голос, обстоятельства, заставившие разместить здесь свои данные. В анкетах не былозывающих к милости, потерянных – все искали «свою половинку», не очень заботясь о высоких и ярких словах, «не курили», «пили по праздникам», «наркотиков категорически не принимали», но сексом хотели заниматься «хотя бы раз в день». Прямолинейность этого интернет-общения увлекла ее. Мир становился проще: вот – я, вот – ты. «Возбуждаюсь от джинсов, от нижнего белья», – писал слившийся в одну фигуру некий «мужежен-женомуж». Деловито, как на бирже, шел разговор с виртуальными подмаргиваниями, букетами, поцелуями, от которых ничего не изменялось, никому не становилось лучше. Вдруг она набрела на кучу фотографий сорокалетнего мужчины в окружении помпезного золотого антиквариата: в белом костюме, в красном галстуке и красных башмаках он сидел в высоком резном кресле, на других фотографиях стоял возле шкафов, диванов и огромных зеркал, которые уводили в перспективу роскоши и гламура. Она открыла его анкету и прочитала:

«Королевство увеличивается, а достойной Золушки нет (без вредных привычек, с хорошими внешними данными и наличием интеллекта) для превращения в принцессу, способную на преданность, верность и любовь (без интимного прошлого). Не писать: с манией величия; потасканных неудачниц; неликвид брачного рынка; людей с нетрадиционной ориентацией; завистников».

Прочитав, она захотела еще раз посмотреть на фото, лучше разглядеть его лицо, но везде был только средний план, единственное, что удалось рассмотреть: почти седой, с рыхлой кожей, с глубоко посаженными, кажется серыми, глазами, прямым, правильным носиком. Задумалась, что же задело ее в словах этого, как она сразу назвала, «пингвина»? Да, ей показалось оскорбительно точным: она – «неликвид», она – «потасканная неудачница». Может, все мужчины так и смотрят на нее? Только притворяются, здороваясь и отпуская комплименты в библиотеке или в подъезде дома, да и вообще все эти годы в Москве? Может быть, здесь только болтают, что ищут какую-то свою половинку, любовь, «а этот, обосранный пингвиненок, вот так прямо написал правду, прячась за свои золотые стулья»?

5

– Вон все из класса! Быстрее! Еще быстрее. Тулупова, останься…

Последний ученик прикрыл дверь.

– Иди сюда. Ближе. Ты знаешь, что мне ни в чем нельзя отказывать? Ты знаешь почему, знаешь? Я тебя спрашиваю…

– Потому что вы единственный оставшийся партизан в нашем Червонопартизанске.

– Нет. Не потому, а потому, что я единственный красный партизан, не бандеровец, а красный партизан в Червонопартизанске. У меня все должны учиться на четыре и пять. Только. И отказывать мне ни в чем нельзя. Понятно почему?..

– Потому что вы кровь за нас проливали.

– Правильно. Да. Тогда тебе, Милочка, вопрос по математике. Почему грудь – одна, бюст – один, а сиськи – две? Это математика: бюст – один, грудь – одна, а сиськи две! Молчишь – не знаешь?

– Нет.

– Потому что это уже высшая математика – мы с тобой еще ее не проходили. Мы будем проходить – позже. Иди, Тулупова, думай. И помни, что мне ни в чем нельзя отказывать, потому что…

– …потому что вы чокнутый красный партизан.

Это было в восьмом классе. Она выскочила из класса первой школы Червонопартизанска. Школ в городе было всего две, и принято было называть их по номерам: Первая и Вторая.

Красный партизан, учитель математики Николай Ефимович Лученко, был весьма почтенного возраста человек, не снимавший никогда медалью со своего черного мятого пиджака. Их было всего четыре, не так много по тем временам, в городе были ветераны и повесомее, но партизаном был один он. Говорили, что Лученко несколько лет сидел в лагере под Уфой, пока не разобрались, на кого и с кем он партизанил в войну, но теперь он стал необходимым символом для города и стоял на трибунах демонстраций первого, девятого мая и седьмого ноября, сидел в президиумах собраний и пленумов. Слова для выступлений ему не давали, но он был нужен Червонопартизанску как своего рода оправдание названия. Хотя заштатный шахтерский поселок Галкин хутор переименовали еще в 1937 в честь красных партизан Гражданской войны, в шестидесятые этого уже никто не помнил.

Лученко преследовал четырнадцатилетнюю Людмилу Тулупову уже год. Он ходил по рядам вдоль парт и зависал над Людмилой, останавливал ее в школьных коридорах и ни с того ни с сего велел показывать дневник, который рассматривал с едкими комментариями о полученных оценках по иным предметам. Уже тогда у Милы женственно оформилась фигура: невысокого роста, стройная, но не худая, русая головка на тонкой шее, большие голубые глаза, как бы фигура еще ребенка, но грудь… Когда она начала расти, Мила еще прыгала в классики возле дома, а в восьмом классе уже ежедневно надевала бюстгалтер третьего размера. Уроки физкультуры стали для нее мукой. Она бежала вместе с девчонками по школьной спортивной площадке; мальчики, только начинавшие созревать, не отрываясь, смотрели, как колышется под белой майкой ее недетская грудь. Дома, стоя возле зеркала, она рассматривала ее с одним вопросом: что с ней делать, чтобы не было видно, как ее спрятать? Она не видела ни ослепительной красоты строгого круга коричневатых сосков, ни благородной раскосости, ни формы, ничего – грудь мешала жить, насиливо выталкивала из детства, задавала несвоевременные вопросы. Из-за нее она получала оскорблений и слышала похотливые вздохи; одноклассники хотели до нее дотронуться, как бы случайно, прижать; отцы подруг, открывая дверь, делали такие глаза, что Людмила, прежде чем принять приглашение, спрашивала – родители будут? Грудь стала враждебным, отдельным от нее существом, с которым она долго не могла позна-

комиться и примириться. Только после родов, когда в больнице, в Москве, в первый раз принесли Клару, она увидела, что ее девочке очень нравится твердая, теплая грудь, наполненная до краев светлым материнским молоком.

Партизан Лученко все-таки подгадал момент и прижал Людмилу, заканчивающую дежурство в классе. Зашел неожиданно и тут же закрыл дверь, сунув рядом стоящий стул в ручку двери. Он прижал ее в углу, у доски, и сильно придавил грудь. Она не могла вымолвить ни слова от неожиданности и страха.

– Молчи. Мне нельзя отказать, я за тебя кровь проливал!

– Отойдите, отойдите, Николай Ефимыч.

– Молчи. Знаешь, почему грудь – одна, бюст – один, а сиськи две? Сиськи две, потому что и руки – две. Так придумано… – И партизан схватил девочку двумя руками.

Людмила пришла в себя, начала отбиваться, схватилась за медаль, оторвала ее от пиджака и тихо, почти по слогам сказала:

– Я сейчас закричу. Закричу так, что здесь будут все.

Лученко отпрянул:

– Учи, я ветеран. Тебе никто не поверит.

Она кинула медаль к выходу. Он понял, что зашел слишком далеко, поднял награду с пола и медленно, как дрессировщик из клетки, стал удаляться, вынимая стул из ручки двери.

– Постой здесь, успокойся, – сказал он и, озираясь, вышел.

Людмила не рассказала ни отцу, ни матери о том, что случилось: не знала, как об этом говорят, как девочонке сказать, что на нее уже смотрят как на созревшую женщину, раз так, значит, она в чем-то виновата. Она пришла домой, где мать привычно ругала подвыпившего отца, и даже сама возможность обмолвиться о случившемся растаяла. Мила нашла новую общую тетрадь за сорок восемь копеек и ученическим девичьим почерком написала короткое письмо:

Дорогой Павлик. Если бы ты не утонул, ты бы, конечно, учился. Поступил бы и учился, на первом курсе какого-нибудь института, и ждал, что и я закончу школу и тогда мы с тобой поженимся. Я бы тебе все-все рассказывала. Все-все, без утайки. Но сегодня произошло то, что я никому не могу сказать. Только тебе. Я не знаю, как такие люди могли защищать нашу советскую Родину. Они, наверное, ее и не защищали, они просто были предателями. Этот Луч – он приставал ко мне, своими немецкими руками хватал меня. Он седой весь и думает, что я никуда не пойду и не расскажу, потому что мне никто не поверит. А почему, Павлик, мне никто не поверит? Разве я плохая, разве я что-то сделала такого? Я ни о чем таком не думаю, мне надо учиться, и все. И я учусь. Пусть они думают что хотят. Потом, когда я закончу школу, я буду думать о любви. Но не с предателями же. Прошлым летом я ездила в Желтые Воды к твоим родителям. Я им помогала, им дали участок под картошку, и мы ее окучивали. Участок рядом с рекой, было жарко, но я не могла там купаться, потому что, когда я входжу в реку, я думаю, что эта вот та же вода, она тебя утопила и может забрать меня. Мне страшно, и поэтому я в Желтой не купаюсь никогда. Не волнуйся, я всегда помогала и буду помогать твоим родителям, они относятся ко мне как к своей дочке. Все. Я написала тебе, и мне стало легче, я не пойду в милицию, и вообще никуда не пойду, и не буду рассказывать ничего. А за этим партизаном надо еще следить, может, он до сих пор служит в гестапо.

Математик Лученко не раз подходил к Тулуповой и предлагал встретиться, обсудить случившееся, говорил, что она неправильно его поняла, он ее любит, но она назвала его эсэсовцем. Сначала Лучставил ей за контрольные и ответы у доски пятерки, потом двойки, но Людмиле было все равно – она решила, что не будет поступать в институт, если там приемным экзаменом будет математика.

Когда Николай Ефимович Лученко на праздники занимал почетное место на трибуне, возведенной на площади, возле памятника Ленину, а колонна Первой школы, открывая парад, шла мимо, Тулупова смотрела на помахивавшего рукой партизана, представляла его в черной немецкой форме и ненавидела весь этот лживый, меняющий имена город. Именно тогда она стала думать о том, как бы быстрее отсюда уехать.

Для жителей Червонопартизанска эта мысль не была оригинальной.

6

Несколько дней Людмила заходила на сайт знакомств, часами пропадая в комментариях, лицах, а потом зарегистрировалась. Сама себя сфотографировала в библиотеке на фоне книг, еще там же – около компьютера, и получилось неплохо, ей понравилось: красивая, серьезная женщина, такая должна нравиться мужчинам. Анкету заполнила как все, не утруждая себя формулировками: «...порядочного, умного, доброго, с юмором». Целую неделю на сайте не было никаких откликов, будто мировая интернет-машина переваривала и рассыпала в разные концы ее нехитрые данные, но в один из дней к ней пришло сразу восемьдесят сообщений. Мужчин как будто прорвало. Большинство сообщений были смайлы: «круто», «клево», «воздушный поцелуй», «сердце» и так далее, иногда они выстраивались в несколько рядов, как бы захлебываясь от восторга. Несколько таких сообщений пришло из Турции и Германии от бывших русских граждан, которые дописывали латиницей «гризгай ко тне» или «гды». Абсурдность приглашения была налицо, но международный аспект начавшейся женской карьеры доставил Людмиле Тулуповой несколько приятных минут.

Она сидела за компьютером у себя в библиотеке одна – ее помощница из числа иногородних студентов, первокурсница-флейтистка Машуня, заболела – и заинтересованно рассматривала большую олимпийскую команду, как она ее называла, состоявшую из женихов, любовников и сексуальных маньяков. Последних было немало: мальчики в двадцать – двадцать пять лет готовы были служить рабами, выполнять любые приказы, смотреть порно и дублировать все, что там происходит. Один писал, мол, не подумайте обо мне плохо, я не сдвинутый, я коллекционер, и просил отдать ему что-нибудь из нижнего белья: трусы, бюстгальтеры, чулки, все старенькое, «чем старее, тем лучше», писал он. Ему она ответила: «Еще поношу. Ждите».

Тот день запомнился ей как праздник, за всю жизнь она никогда не имела такого оглушительного успеха: восемьдесят сумасшедших мужиков будто пришли к ней в библиотеку и выстроились у стойки в очередь. Как добросовестный институтский библиотекарь, Тулупова решила дать всем то, что они просят. Отвечать – смайлом на смайл, приветом на привет, на слова «вы красивая» отвечала «вы тоже». Она чувствовала себя виртуальной феей, принцессой в большой западной чистенькой психиатрической лечебнице, где собирались милые, смешные пациенты, не стесняющиеся своих экзотических заболеваний. «Малышам», так она называла молодых людей, предлагавших новые позы и методы, она отвечала с ехидцей, но по-доброму: «Спасибо, за вас уже все это сделал Карлсон». К вечеру, к концу рабочего дня, у нее остались не отвеченными всего семь сообщений, все они просили дать телефон, но у троих не было фотографий. Людмила не знала, как поступить. Дать – будут называть, не отвертишься, а если не давать – тогда зачем все это? К звонкам она еще не была готова – одно дело стучать по клавиатуре, и совсем другое – говорить собственным голосом! Представить, как она будет с кем-то встречаться, вовсе невозможно.

– До свидания, Людмила Ивановна, чего-то вы сегодня поздно, – учтиво попрощался охранник на выходе из института.

– Да, Олег, до свидания, я все поставила на сигнализацию, как обычно.

Но ничего обычного теперь не было.

Она совершенно иначе посмотрела на тридцатисемилетнего охранника, который уже лет пять дежурил, меняясь с бодрым стариком Михаилом Александровичем, как на человека с сайта знакомств. Да, подумала она, он тоже мог бы там быть, может, в самом деле, сидит в Интернете, ведь с женой уже не живет, говорил, что разводится. Хотя зачем ему? – здесь у него девчонки, он с ними заигрывает... Она ехала привычной дорогой домой, а в голове была непроверенная каша из писем и ответов, что она сочинила, из лиц, бицепсов и торсов на пляже-

ных фотографиях, кажется, со всех мест Земли. Неожиданно возникло сомнение – а тем ли занимается взрослая женщина, мать двоих детей? Зачем все это?

Была пятница. В субботу сын и дочь, как всегда, разбежались, и она, занимаясь рутинной домашней работой, думала: что делать с оставшимися семью пациентами ее сумасшедшего дома? Вечером Тулупова спустилась с пятого этажа своей квартиры в ближайший магазинчик и купила самый дешевый телефон и новый мобильный номер, по которому собирались жить тайной, позорной, подпольной жизнью. В номере было три семерки, правда не рядом стоящие, но «все равно к счастью», решила она. Теперь, когда семь лаконичных принцев получили возможность поговорить с Милой Тулуповой, она все время смотрела на новый сотовый телефон, откуда в любой момент мог раздаться звонок из неизвестной жизни, и на него, по неписанным правилам игры, необходимо отвечать!

Но телефон молчал. Ей казалось, что в магазине сотовой связи продали брак, или неправильно активировали карту, или еще что-то. Казалось непростительно стыдным, что она так волнуется, ведь ничего, совершенно ничего нового не могло произойти, жизнь уже состоялась – такая, какая есть, и изменить в ней что-либо уже нельзя…

В середине следующего дня раздался звонок. Телефон ожила. Мила некоторое время стояла возле него, думая, не будет ли слишком по-девичьи немедленно взять трубку.

– Алло, ты что, с ума сошла?! – говорил звонкий, доброжелательный женский голос.

– Вам кого?

– Тебя, конечно. Это Надя, загримированная под Андрея…

– Зачем вы мне звоните!?

– Не бросай трубку. Ты только не обижайся, Мил, не обижайся, я знаю, я дура – мозгов нет и не было. Вот ты только что на сайте, а я всех новеньких нашего возраста обзваниваю, мы же одна команда, живем тут по многу лет…

– И сколько?

– Уже четыре года, да нет, пять, пять лет в мае будет. Тут уже мы все – родные.

Мила никак не могла опомниться:

– И что?

– Все нормально. Не волнуйся, но телефон сразу не давай. Это правило, иначе у них спермой все перемыкает.

– Не понимаю, как вас…

– Надя. И на «ты». Они же на всех нас реагируют. Они должны знать, что это не бесплатный публичный дом, а мы не старые бабы по вызову. Нельзя сразу соглашаться на встречу…

– Почему?

– Ты чего сейчас делаешь?

– Ничего.

– А где живешь – какая станция метро?

Мила простодушно назвала станцию.

– Во, хорошо – на одной ветке! Я сейчас далеко не хожу, нога болит, наступать больно.

И непонятно с чего – не падала, не поскользнулась. Ты не врач?

– Нет.

– Ну, давай через час, нет, не успею одеться, через два… посередине встретимся.

– А как я тебя узнаю?

– А я сейчас приду. У меня ник – Фенечка. Я тебе приду и напишу где. Все, пока-пока! – И она бросила трубку.

Через несколько минут к Миле пришло сообщение от «Фенечки». Она оказалось дамой сорока шести лет, снятой в лирических позах на скамейке, на траве, на диване, с волосами, крепко выбеленными перекисью, с большими глазами, красными от фотоспышки, и массивным носом. Когда они встретились в кафе, Мила подумала: удивительно, между ее фотограф-

фиями и живым человеком – никаких расхождений. Только глаза оказались не такими радостными.

– Как все дорого, – сказала Фенечка-Наденька. – Раньше я все могла себе позволить, я двадцать два года просыпалась и думала: бывает же такое счастье! Лежу и думаю – так не бывает. Я такая дура – мозга нет и не было! И счастье, полное счастье. Все есть, я всегда была замужем. И сын. И я. Никогда не работала. А тут утром проводила его, а вечером он пришел с работы и сказал: «Я встретил человека, о котором мечтал всю жизнь». А я ему говорю: а я, а я как же?! Разве ты не обо мне мечтал всю жизнь? Он говорит, о тебе мечтал, но это было давно. А теперь он, видите ли, нашел! Это называется «кризис мужчин среднего возраста». А мне что делать? Двадцать два года я ему давала во все дырки, а теперь он нашел мечту. Встретил! А ты, ты была замужем, Мил?

– Два года. Я не помню ничего. Не помню, как быть женой, что надо делать. Никогда ему не стирала, не готовила, то есть когда-то, наверное, я все это делала, но ничего не помню. Совсем. Как каждый день спят с ними?..

– Тебе хорошо. А я помню! Три месяца слезы лила, а потом пришла на сайт и решила найти замену…

– За четыре года ничего?

– Я сначала встречалась, но все сравнивала – мозга нет и не было! А потом прописала себе курс из пяти уколов. – Мила внимательно посмотрела на Фенечку. – Решила – пересплю пять раз подряд с разными мужиками. Вот, кто звонил, я им да, где и… с зажмуренными глазами. Все, кстати, нормальные попались. Один только два часа себя подымал, но справился, дай бог ему здоровья. Полегчало. Немного. Потом думаю, блядью становлюсь. Стоп! Но еще с японцем только переспала. Интересно, ты знаешь, у них сперма пахнет рыбой. Будто в рыбном отделе. Точно. А я рыбный запах не переношу. Он в меня не кончал, боялся, что я ему япончика принесу. Я ему сказала, что мне тридцать два. А он – мозга нет – поверил! Что они, японцы, понимают?! А ты зачем на сайт пришла, кого найти хочешь?

Мила пожала плечами:

– Дети выросли. В Новый год всегда так тяжело бывает. Броде привыкла, сама себе хозяйка, но две праздничные недели одна… Может, к Новому году найду, с кем встретить?

– Ужас, а не праздник. Не хочу тебя расстраивать, но не найдешь! Они все разведены и одиноки одиннадцать месяцев в году, но с конца декабря до середины января – на сайте мертвый сезон. – Фенечка рассмеялась. – Эти твари, называемые мужиками, всегда находят, с кем встретить Новый год, а мы сидим и делаем телевизионный рейтинг! Они зарабатывают на нас, на нашем одиночестве!

Фенечка посмотрела на Милу добрыми, честными глазами, наверное, она так каждый день смотрела на своего мужа, провожая и встречая его с работы.

– Мил, давай нажремся!

– Не, я не умею.

– Я тоже, но хочется!

Они вышли из кафе на вечернюю нагретую московскую улицу. Фонари как-то особенно горели, пропыленная осенняя листва опадала, парочки, шедшие навстречу, казались такими знакомыми, будто все люди на земле возвращались домой с одного-единственного сайта.

До Нового года оставалось время, несколько месяцев.

Неожиданно у Милы зазвонил тот самый новый телефон.

– Мужик. По звонку чувствую, что мужик. Считай до пяти и бери трубку! – скомандовала Фенечка.

– Да, – ответила Мила. – Это я. Да. Чем занимаюсь? Да ничем особенным, с подругой гуляем по Москве.

– Скажи ему, что подруга у тебя красивая…

— …да, только с подругой, она у меня красивая, ее зовут Фенечка, то есть… Вы ее знаете. Нет, не с сайта, почему вы так решили?

На той стороне трубки что-то долго рассказывали, Тулупова только кивала.

— Понятно, — сказала Мила. — Да, приятно было познакомиться.

Людмила отключила трубку.

— Ну что? — спросила Фенечка-Наденька.

— Ты личность известная. Все про тебя говорил.

— Что?!

— Ничего — мозгов нет и не будет…

— Как звать экземпляра?

— Семен. Назвался Семен.

— Это тварь! Это тварь!!! Это такая тварь!

— Велел послать тебя далеко — далеко и надолго.

— И ты меня пошлешь?! — возбудилась Фенечка, и глаза у нее наполнились слезами, будто ее муж прямо сейчас собирал вещи. — Ты меня пошлешь…

Мила посмотрела на свою новую подружку и сказала:

— Привет! Я снова в Червонопартизанске!

— В каком Партизанске?

— Я там родилась. Там тоже все всех знают!.. Давай все ж напьемся… что нам какой-то Семен пятидесяти трех лет?!

— Он в завязке, поверь мне, — вставила Фенечка.

— Все-таки это был первый настоящий мужской звонок.

— Первый?

— Не считая тебя, конечно.

— Я люблю тебя, Милка, я люблю тебя! — И Фенечка-Наденька бросилась обнимать свою новую подругу. — Все! Навеки! Прости меня, дуру, ну, нет мозгов — и не будет! Забей мой номер в трубку — и навсегда! Я твоя. Но ориентация у меня правильная — только мужики!!! Зачем они нам нужны, нам и так хорошо?! Все, все, Мил, я больше не буду…

Стадо породистых черно-белых холмогорских коров прогоняли вдоль пионерского лагеря рано утром, когда еще все дети спали, и поздно вечером, перед ужином. Густым, оперным мычанием наполнялся воздух, становился еще влажнее, росистее, пахучее. Дети выстраивались вдоль забора и смотрели на неторопливо бредущих животных. Маленький мальчик в красной рубашке нервничал и прятался за спины.

– Вот бык, вот бык, сейчас он тебя увидит и бросится. – Одно дитя малое пугало другое, и каждый преодолевший свой страх казался себе умнее, взросле и мужественнее. – На красное, на твою рубашку. Во! Во... сюда идет, сейчас набросится...

Тулупова стояла рядом с забором – это был общий ритуал для младших и старших отрядов: кино в клубе показывали раз в неделю, а коров гоняли каждый день. Людмиле было понятно, почему длинный ряд детских лиц с неподдельным интересом на все это смотрел: да – небо закатное, да – березы белые, редкие, уходящие в небо, да – особенное чувство времени, лениво тянувшегося, в которое вписывалась неторопливая поступь коров, маятники болтающиеся, тяжелого вымени – все завораживало. Но ждали на самом деле другого.

Бык выделялся. Он был крупнее, рога прямее, весь черный, без белых пятен, на лбу челка... Его замечали сразу.

– Бык! Бык! Бык! – громко кричали дети.

И следили теперь только за ним. И шептали наперебой:

– Смотри. Смотри. Сейчас, сейчас...

– Она не бежит от него...

Бычий член обнажался и увеличивался на глазах изумленных пионеров.

Огромное тело быка с красными от возбуждения глазами наваливалось на покорно оставившуюся корову, и все молча смотрели, что происходит.

– И нас будут так, Тулупова, – раздумчиво произнесла Бурмистрова, когда сцена закончилась и стадо прошло.

– Как «так», Бурмистрова? – не поняла пионерка Тулупова, в лагере все называли друг друга только по фамилиям.

– Вот «так»! Как...

– Нет, нет, не...

– Да. Да, – со знанием дела утверждала двенадцатилетняя подруга. – Мужчины для этого и существуют.

Ночью, после отбоя, из мальчишечьей в девичью палату забежал самый низкорослый бойкий паренек Антон Широков и, держа руки над головой, закричал:

– My! My! My!

Бурмистрова тут же вскочила с кровати, схватила полотенце и, размахивая им, как кнутом, стала выгонять «доморощенного быка»:

– «My»! Что «му»?! Я тебе дам «му»! Я тебе покажу «му», Широков! У тебя потом... такое «му» вырастет.

Выгнав Широкова, девичья палата пионерского лагеря «Спутник» смеялась до тех пор, пока пионервожатая не решила оторваться от своего, как она считала на тот момент, жениха и не вошла в палату на двенадцать коек. Уповая на женскую солидарность, она умоляла:

– Девчонки, ну давайте же спать... я тоже человек, у меня личная жизнь есть или нет?

8

Черная представительская «ауди» с трехцветным флаговым пропуском на лобовом стекле пыталась припарковаться возле Музыкального института имени М. М. Ипполитова-Иванова. Места не было, и когда водитель «пошел на второй круг», пассажир, сидевший на заднем сиденье, сдался:

– Высади меня здесь где-нибудь поближе – я недолго. Припаркуешься – отзови, где встал.

– Хорошо, Кирилл Леонардович.

Кирилл Леонардович Хирсанов взял букет из пятнадцати больших красных роз, вышел из машины и направился к главному входу типового школьного здания, куда с недавних времен переехал институт.

На входе так, чтобы впечатлило, он развернул перед охранником Олегом свою кожаную малиновую корочку с российским гербом:

– Где тут у вас библиотека?

– На втором этаже, направо по коридору. Вас проводить?

– Не надо, – отрезал Хирсанов.

– А ректор на третьем! Тоже направо, – крикнул вдогонку Олег, полагая, что без ректора такой визит обходиться не должен.

– Да-да, спасибо, я знаю.

Хирсанов быстро поднялся по двум лестничным пролетам, сразу понял, где институтская библиотека, можно было и не спрашивать. Когда вошел, Тулупова сидела за компьютером и составляла письмо в издательство музыкальной литературы «П. Юргенсон» о выделении книг и партитур классики по льготным ценам.

– Людмила – вы? – спросил Хирсанов для порядка, хотя все и так было ясно. – Я – Кирилл. Звонил вчера.

– Кирилл… без фотографии? – Тулупова не могла понять, как он здесь оказался.

– Это вам.

Хирсанов протянул букет.

– Спасибо. Розы! Но как вы оказались здесь? Я же…

– …вы сказали, что работаете заведующей библиотекой в Музыкальном институте Ипполитова-Иванова – этого для меня достаточно. Пробил по базе: Тулупова Людмила Ивановна тысяча девятьсот… о возрасте женщины мы умолчим. Вы, Люда, так прекрасно выглядите, что никогда не скажешь, что у вас двое взрослых детей. Родились на Украине, в Червонопартизанске…

Только теперь, когда Хирсанов заговорил, Мила смогла подробно рассмотреть вошедшего. Из анкеты она знала немного: ему пятьдесят два, рост сто семьдесят пять, вес восемьдесят и больше ничего. Выглядел он чуть моложе, не грузный, даже спортивный, с изрядной сединой и небритостью, как теперь модно. По виду чиновник: белая рубашка, темный, хорошей ткани костюм, галстук, но что-то делало его не совсем «типичным представителем»: некий лоск, уверенность, голос. Его голос ей понравился сразу, еще по телефону: молодой, четкий, резкий. Он объяснил, что фотографии размещать не имеет права, потому что работает в Администрации президента – ведущий аналитик, но она ему понравилась, и он просит о свидании.

– Итак, я у вас в какой-то базе. Зачем я там? – спросила Тулупова.

– Мы все в одной базе. Я могу пробить любого, и все о человеке будет известно, – не без гордости сказал Хирсанов, показывая пальцем наверх.

– Тогда зачем вы на сайте, раз у вас там «база»? Вы с любой женщиной можете познакомиться без проблем…

У Хирсанова зазвонил мобильный телефон.

– Извините. Да, я понял. Слева от входа. Найду. – Он оборвал разговор и пояснил Людмиле: – Шофер! Тут у вас нигде не встанешь, паркинга нет.

– Я на метро езжу, меня это не касается.

– Предлагаю сегодня после работы встретиться и обсудить все. Я за вами заеду, тут есть один ресторан хороший. И недалеко.

– Нет, не могу, – сразу отрезала Людмила. – Не готова, с дочерью договорилась уже, и мы там… идем, ну в общем, не сегодня – точно. Не могу, нет.

– Это ошибка, – с угрозой в голосе сказал Хирсанов, понимая, что уговаривать бесполезно. – Жаль. Как говорят на востоке, «алыпээмэ эртэфаат – альяум яидуна биашъян кафира».

Людмила ничего не поняла.

– Это значит «солнце взошло – день многое обещает».

– Красиво. И музыкально.

– Почти десять лет советником в Дамаске…

– Интересно, конечно…

– Жаль. Да, но следующий вечер мой, Люда.

– Конечно, договорились. Просто я не готова сегодня, Кирилл. – Она сознательно произнесла его имя, как бы пробуя его первый раз на вкус – «вроде ничего произносится». И добавила, чтобы у него не было сомнений: – Дочь… дела, вы без предупреждения… нагрянули, можно сказать…

– Я был сегодня свободен. Это нечасто бывает. Приятно… вы очень красивая, и глаза, глаза у вас бьют просто влет.

– Ну, я не могу сегодня. Увы!

Хирсанов протянул свою визитную карточку с гербом и распрощался, поцеловав руку.

Когда он вышел, Людмила посмотрела на руку: ей надо бы теперь мыть посуду в перчатках – в этой ее новой жизни целуют руки, дарят цветы, приглашают в рестораны, и ей точно стоит начинать себя любить. И еще удивилась, так легко и правдоподобно, как никогда, кажется, в жизни, соврала насчет дочери. Быстро, убедительно, сама бы себе поверила, если бы не знала, что сегодня у нее первая встреча с другим женщиной с сайта. Он называл уже четыре дня. Сегодня она обещала встретиться на Тверской, в семь вечера ровно.

Николай звонил по несколько раз в день и всегда начинал одним и тем же вопросом:

«Привет, что делаешь?»

«Ничего», – отвечала она.

«Так не бывает – человек всегда что-нибудь делает», – говорил он.

«Ну, тогда чай пью».

«Ну вот, уже интересно».

«Что же здесь интересного?»

«Ничего. Просто ты чай пьешь, а я статью пишу. Через час сдавать».

Николай представился спортивным журналистом, работает в «Советском спорте», пишет в основном о зимних видах, ну а летом – обо всем, что закажет редакция, даже о хоккее на траве и гольфе. На третий день таких бессмысленных и вязких разговоров Людмила купила газету, где нашла статью – Николай Вольнов писал, как тренируются в подмосковном Красногорске российские лыжницы перед чемпионатом Европы.

«И почему ты с лыжницей роман не закрутишь?» – спросила Тулупова в одном из телефонных разговоров.

Вольнов ушел от ответа: «Встретимся – объясню».

Людмила не хотела встречаться. Он был на семь лет младше, она не желала чувствовать себя «старой теткой», прилипшей к молодому парню, ему и отцом становиться не поздно –

ну что такое тридцать девять? Был у него, как рассказал, один неудачный брак – и что? Ей, рассуждала она, ничего не надо, постельных удовольствий не ищет, а для чего знакомится? Ни для чего – для Нового года. Тогда лучше не надо...

Тулупова взяла большую стеклянную банку из-под огурцов, оставшуюся с позапрошлого Нового года, налила в нее воды и по одной вставила все пятнадцать роз, подаренных ей, как она для себя называла, «экспертом из Кремля». Пока смотрела на эти красивые, холодноватые, проштампованные селекцией бутоны, в ее сердце что-то неожиданное шевельнулось: теплое, нежное, похожее на любовь, на молодой задор, на счастье, то ли еще на что-то, для чего не находилось слов. Да, их обычно и не ищут – банальная история: мужчины жаждут с ней встречи, хотят говорить, желают, зовут – приятно.

И когда она, выходя из института, сдавала ключи, охранник не удержался и спросил:

– Людмила Ивановна, это кто это к вам приходил с охапкой роз?

– Не знаю.

– Как не знаете. – У него корочка будь здоров!

– Так! Не знаю.

9

Вольнов ждал на Тверской, в условленном месте, недалеко от «Макдоналдса», не надеясь, что женщина из библиотеки придет. Он настойчиво ее добивался, но точно не знал – зачем. Звонил еще нескользким, но они прямо спрашивали, какой у него рост, вес, какая зарплата, есть ли у него машина, место для встреч… Часто вместо звонка на мобильном телефоне звучал пошлый шлягер со словами «мой дорогой, будь со мной, ты самый, самый…» или в таком вот духе, тогда он сразу сбрасывал вызов. Мила долго отказывалась встретиться и говорила ему: «Зачем я вам, зачем, вы еще мальчик…» Собственно, он только и пришел из-за этой нелепой фразы, которая – то со знаком вопроса «Вы еще мальчик?», то с восклицанием «Ура, вы еще мальчик!» – на разные лады прокручивалась в голове. Высокий, спортивный, с открытым, прямо и просто сделанным лицом, он уже несколько минут ждал автора этих слов.

- Я – Людмила.
- А вы не опаздываете, – отметил он, когда Мила подошла к нему. – Я Николай.
- Не опаздываю, потому что не люблю опаздывать.
- Можно Мила? – спросил Вольнов.
- Можно и Мила. Какой у вас план?
- Никакого. В кафе…
- Давайте в «Макдоналдс», раз уж…
- Ну, это не совсем то…
- А зачем вам зря тратиться? Все равно ничего не будет. Вы мне обещали рассказать, почему не нашли себе лыжницу, раз вы про них пишете.
- У меня жена лыжница, чемпионка мира по биатлону, я их слишком хорошо знаю.
- А вы еще и женаты! В анкете вы про это не написали.
- Лыжница – это все равно что не женат.
- Вы больше там о себе ничего не наврали? Вас действительно Николай зовут? Вы – журналист?..
- …и ориентация правильная.
- Ну, в этом я не сомневаюсь! – Она смерила его взглядом. – Но мне как раз все равно, какая ориентация у мальчика, – слегка рассердилась Тулупова. – Ладно, угощайте жареной картошкой, и расходимся. Так, значит, когда жена борется за медали, вы тоже становитесь на лыжню?

В «Макдоналдсе» они купили обычный набор и быстро перешли на «ты».

Она не могла затем вспомнить, как все получилось. То ли была разогрета количеством роз «кремлевского эксперта» – вот и поспорь теперь о том, переходит ли в букетах количество в качество; то ли от почти биржевой толпы, стоящей к кассам; то ли оттого, что они долго искали свободный столик и по несколько раз, как в ненастную погоду самолет, заходили на посадку, а сели в угол, в самом уютном месте; то ли оттого, что мистически долго стояли с оставшим кофе и тающим мороженым и глазами отыскивали маршрут друг к другу; то ли еще от чего-то, но нашлась точная интонация, волна. У Милы появилась уверенность, что с ним, с этим журналистом, ничего не будет, и ей стало легко. Она, не боясь, спрашивала обо всем. Сама отвечала честно и прямо. Так давно не происходило с мужчинами, а может быть, не было вообще никогда: абсолютная свобода часто возникает перед случайным человеком, ничто не мешает…

Он сказал, что с такой красивой грудью, как у нее, удивительно, почему она до сих пор одна.

Она спросила, он шутит или серьезно?

Он сказал, что есть классические мужчины, как он, которых с подросткового возраста волнует вырез, декольте, подчеркнутая закрытой, обтягивающей черной кофтой грудь.

Она сказала, что стеснялась ее всегда, и сейчас не знает, что приходит на ум мужчине, когда смотрит на нее: то ли думает «ну отрастила», то ли испытывает желание и нежность.

Он спросил, как она выбирала своих мужчин, к чему больше прислушивалась – к разуму или сердцу?

Она ответила, что в жизни ей совсем не приходилось выбирать – она одна воспитывала детей – и плохо понимает теперь, что хочет ее голова, сердце и тело.

Он сказал, что наше тело – это большая загадка. И стал рассказывать, что у спортсменов есть наука управления телом и для разных видов спорта существуют разные технологии, но все же больше всего человек похож на лошадь: достижения высоких результатов на скачках и характер лошади связаны.

Она спросила – почему?

Он объяснил с примерами, что только буйная, ненормальная, капризная, сумасшедшая лошадь способна показать мировое время, что психика и тело всегда рядом, еще Декарт об этом писал, его цитируют современные тренеры, и наверняка есть интимная связь между большой и красивой грудью Людмилы и ее характером.

И вдруг он спросил:

– А ты кричишь?

– Раньше – нет, а теперь – да. – И добавила: – Но ты этого не услышишь.

– Почему?

– Потому что ты еще маленький мальчик!

10

Она не знала, как она получилась.

То есть знала, как дети рождаются, но потом двор принес достоверную информацию. Червонопартизанские девчонки подросли и рассказали про баню и дырку, проскребенную в белой краске окна, про то, как увидели в лесополосе парочку и чем они там занимались, но она не знала, как ее мать и отец любили друг друга – родительское ложе было предназначено только для сна. В доме была тишина, приправленная невыключаемым радио, и никаких звуков любви. Ни звука поцелуя, ни скрипа дивана, ни шуршания за шкафом. Когда жили в коммунальной квартире, а потом за стеной, когда переехали в двухкомнатную, никогда Людмила не слышала и, конечно, не видела мать и отца в любви. И она тоже молчала, с первого своего раза на лавочке, в парке, через два дня после выпускного вечера.

Теперь она не помнила, нравился ей Андрей со смешной фамилией Сковородников или так просто вышло: он – ее парень. Сковорода, так его называли, оказывал ей знаки внимания – нет, портфеля не носил, в шахтерском Червонопартизанске носить портфели девочкам считалось недостойным, это все столичные выкрутасы залетных московских и киевских. Была мода на грубость: слегка толкнуть или сказать: «Иди сюда», а потом, когда девчонка подойдет, сказать: «Зачем пришла?». Сейчас она забыла все приемы ухаживания по-червонопартизански, но помнила, что Сковорода ее выделял, и подруги говорили: «Вот, идет твой».

На пляже у единственного большого городского пруда ребята играют в волейбол, девчата загорают отдельно, в стороне, Сковорода вдруг мяч ни с того ни с сего в Тулупову пошлет. Она, конечно, мячей не подавала – по условиям неписаной игры не должна, но понимала, что вот он вразвалочку идет в ее сторону, словно лев в саванне, медленно поднимает мяч с песка, нагло смотрит на нее, потом говорит: «Ну что?»; она отвечает: «Ничего». И нечто невнятное, любовное состоялось.

Что это было – невинность или невежество? Скрытое чувство, непроговоренное, смешное, детское, которое потом долго, чуть ли не всю жизнь, растворялось, как твердый колотый сахар? Или это была соль? Непроваренная соль подлинных, вечных отношений мужчины и женщины, соль, которая никогда не растворяется, а только оседает где-то внутри, готовая в любую минуту подняться, как муть, обернуться горечью, жесткостью, насилием, оскорбительным расставанием. Она не думала об этом, но когда на лавочке он полез к ней в трусы и Андрея Сковородникова обожгло ярким, одурманивающим запахом женской плоти, запоминающимся, точным, как запах горячего асфальта, она поняла: сопротивление бесполезно, ничего не скажешь. И все сделалось само собой: вот – он, вот – она. Не знала, нужно ли сопротивляться или ей просто кинули мяч, как тогда на пляже? Руки сами собой потянулись, чтобы его подхватить, обнять, прижать, поцеловать. Это неоткуда возникшее чувство, не любовь, а моторика – неожиданно, само собой заработало ее женское устройство. Она только попросила понять, что он первый:

– Я девочка…

– Не болтай, все знают – тебя партизан отпартиза-нил, – пыхтя над трусами, аргументировал настырный шахтерский паренек.

Она увидела его чужое лицо, и «устройство» перестало работать – умерло, замерло, заглохло, как автомобиль на перекрестке.

– Нет! Нет! Нет!

Она оттолкнула его. Вырвалась. Глаза были полны ярости, беспомощности и слез.

– Докажи, – тихо, но требовательно произнес он.

– Нет.

– Докажи!!!

Она должна была поднести подкатившийся к ней мяч.

– До-ка-жи!

– Нет.

– Докажи!

И она поступила, как он велел. Стянула трусы, молча, как в ванной. Он усадил ее на скамейку, раздвинул ноги, спустил свои штаны, и дальше она ничего не помнила. Он что-то делал, а она молчала, не чувствуя ничего.

Молчала. Долго.

Павлик, прости меня. Это случилось. Самое ужасное в моей жизни, самое, самое ужасное. Я знаю, ты там в гробу перевернулся. Я тоже, я тоже теперь в гробу. Павлик, дорогой мой, добрый и самый, самый любимый Павлик, прости меня. Прости. Нет оправдания моей измене тебе, я думала, что у меня будут муж и дети, и ты будешь рад тому, что мне хорошо, что я счастлива, но сегодня я умерла, как и ты, – мы с тобой рядом. Мы мертвые оба. Я перестала быть как все нормальные люди, и мне никто не верит, и меня считают «п», которая не достойна ничего, кроме как спать со всеми подряд. Так и будет, наверное. Что мне еще делать, как жить в этом городе, занятом гестаповцами? Они здесь везде. На каждом шагу. Я буду спать со всеми ними за подачки, за то, что они разрешат мне здесь жить и не убьют меня сразу. Но зачем мне такая жизнь нужна? Зачем? Я сдала экзамены с двумя четверками, по алгебре и химии, а остальные пятерки – и вот первая неделя моей самостоятельной жизни, и я мертвая. Когда я пришла домой, мать так на меня посмотрела – она, конечно, все знает, ей уже донесли. Пока она молчит, но я знаю, что теперь будет. Точно знаю, но не это главное, главное – нет никакой любви... Когда я шла от нашей площади Красных Партизан к парку, где все произошло, я знала, что в этот вечер может что-то случиться. Я не знала, хорошее или плохое, я ничего не знала – там, в парке, все наши девчонки из школы становились женщинами и потом рассказывали мне и другим, как все с ними было, но то, что произошло со мной там, никогда не было. Никогда. Теперь надо быстрее отсюда уехать или умереть и лечь рядом с тобой, под березой, которую на твоей могиле еще тогда посадил твой отец, Алексей Михайлович, и она такая вымыхала, что я тебе не скажу сколько метров. Я теперь понимаю все. Все. Писать больше не могу, очень хочу спать. Буду спать несколько дней или всю жизнь, всю, всю.

11

Если бы служащий из «Макдоналдса» в клетчатой рубашке не забрал со стола подносы с остатками еды, они бы еще долго сидели и разговаривали.

– Может, еще что-нибудь возьмем, – предложил Вольнов, когда со стола убрали.

– Нет. Это и один раз есть, в общем-то, нельзя.

– Преувеличено все, я люблю, – сказал Николай. – Привык. Один, готовить не хочется, а сюда пришел – и сыт.

– Вредно. И одиноко тут, – сказала Тулупова, и ей неожиданно стало жалко голодного взрослого мальчика.

Когда они вышли на улицу, Людмила спросила:

– И часто ты сюда заходишь?

– Почти каждый вечер, я живу здесь недалеко, – ответил Вольнов, показывая в сторону дома.

– Жена тебе не готовит?

– Она на сборах.

Так получилось, что пошли в сторону, куда он показал. Когда встали у подъезда, она спросила:

– Зачем мы сюда шли?

– Не знаю, – ответил Вольнов.

– И я не знаю… какая станция метро здесь рядом?

– А зачем нам метро?

– Чтобы я уехала.

– А может, зайдем?

Людмила задумалась: незнакомый мужчина, часа два, как говорим, по сути, ничего неизвестно. И известно все. Какая-то глупость, с первого раза идти в чужой дом. Зачем? И притом она же говорила ему, что он молодой, женатый и пусть ни на что не рассчитывает. Но дверь подъезда манила к себе – хотелось и дальше открывать с ним дверь за дверью, говорить, понимая, что ничего ровным счетом не связывает ее с этим мужчиной – мужчиной на одну ночь – и не будет связывать.

– Зайдем, чего ты боишься, – с доверительной интонацией сказал Вольнов. – Если не захочешь, ничего не будет. Кофе попьем, коньяк тоже есть. И водка… что хочешь?

– Да, мальчик. Ты настырный, мальчик. – Ей почему-то хотелось называть его так. – Нет, лучше в метро, – выбрала она, понимая, что уже согласна войти во все закрытые двери.

Ему надо бы еще раз сказать – не бойся, грубости не будет, но он почему-то поверил «в метро».

– Как знаешь, – огорчился он. – Идем.

И они пошли к метро. Разговор потерял свою головокружительную силу, Вольнов не спрашивал об ее муже, о том, почему она развелась, как это было, а ей так было бы интересно ответить на эти вопросы про свою жизнь. Впрямую. Так, как было. Про это никто никогда ее не спрашивал.

Шли. Шуршала листва очаровательных первых дней московской осени. В пробке у светофора коротко и ритмично, подмаргивая поворотными огнями, гудели машины. Из открытого ночного кафе доносилась музыка. И все цвета и звуки, лак машин, отражающий рекламный неон, тепло ночи, падающий, ссохшийся лист тополя, серый тротуар, катящаяся по нему пустая алюминиевая банка из-под пива, пластмассовый кусок подфарника, оставшийся от аварии, оседающая пыль, запах автомобильного выхлопа и шаурмы, большая грудь Милы, шаркающая походка Николая Вольнова соединялись в один любовный вечер и ночь. И вся Москва

в такие погоды, в такие дни превращается в огромную, гигантскую разогретую сковородку, на которой приготавливается нечто странное, именуемое любовью.

– Ты знаешь, мальчик, я передумала, я принимаю твоё приглашение, мы пойдем к тебе, – сама не ожидая от себя, произнесла Людмила, когда увидела перед собой красную букву «М».

Вольнов повернул Милу к себе, обнял, долго целовал в губы и потом, как бы отпив первый жадный глоток, сказал:

– Я знал, ты настоящая блядь.

– Почему?

– Потому что только настоящая понимает, что есть моменты, которые нельзя пропустить.

– Да. Я самая настоящая – настоящее не бывает.

Влекомые желанием, они почти бежали, и перед дверями подъезда Вольнов долго рылся в карманах, искал ключи, и показалось, что потерял, не найдет.

– Сейчас.

– Не торопись.

Обычные слова звучали как любовный шепот.

На лифте поднялись на одиннадцатый этаж. *И опять* ключ упрямо не входил в прорезь замка, потом сопротивлялся в повороте, потом отказывался выниматься. Мила видела, он спешит, и его желание разогревало ее еще больше. «Конечно, настоящая, если с первым встречным! Кто я еще? Но что мне? Бояться уже нечего. Все. Хорошо, что он меня так назвал. Как хорошо. Именно так приходят они по вызову», – думала она и не обижалась на слово «блядь», приняла его как знак новой чувственной, открытой жизни, на пороге которой стояла. «Наверное, именно так они входят в чужую квартиру, к ним приходят новые запахи, они снимают обувь и, стараясь ничего не задеть в темноте, ложатся в кровать...»

– Проходи быстрее – у меня кошка, может выбежать, – сказал Вольнов, прерывая ее мысли.

Он зажег свет в коридоре, и на Милу неподвижно уставилось рыжее животное с зелеными глазами.

– Она на всех так смотрит или только на меня? – спросила Тулупова.

– На всех, – механически ответил Вольнов. – На всех.

– И много их до меня было?

Вольнов задумался:

– Как бы я тебе ни ответил, ты не поверишь: никого – посчитаешь, что вру, много – тоже неправда.

– Скажи «много» – я решу, что ты хвастаешься как мальчишка.

Вольнов прижал ее к себе. Когда она его так называла, в нем что-то вздрогивало и становилось светлее, будто в его внутреннем доме какой-то человечек вскарабкивался на один стульчик, потом на другой, дотягивался доверху и открывал форточку. Свежий воздух из детства и юности, из зрелых лет, из всего, что было значимо в жизни, превращался в дурманивший поток новых, неиспытанных чувств. Это состояние, его невозможно ни с чем спутать, подхватывалось ею, и Мила, как кошка, возбужденная резкими запахами свежей рыбы, мурлыкала между поцелуями:

– Что, мальчик, что?.. Что ты, мальчик!.. Что ты хочешь, мальчик...

Она не знала, почему привязалось к ней это слово. Зачем она так говорит, почему его так много, но оно вырывалось снова и снова.

– Мальчик, мне надо в душ...

– Никакого душа, считай, у меня отключили воду. Душ придуман, чтобы все разрушить.

– Разрушить что?

– Все. Считай, что мы на лавке в парке, душа нет.

Она мимолетно вспомнила о Сковородникове – откуда он знает? – но тут же поняла: просто попал. Он прав: тысячи, сотни тысяч, если не миллионы теряли невинность в таких местах, где нелепо искать душ. Запах желания, его твердый член, упирающийся в нее, настаивает именно на этой минуте, и, как горячий хлеб, отломанный руками, имеет иной вкус, нежели тонко отрезанный острым ножом, так и эта минута разрушилась бы любой отсрочкой. Он раздевал ее, целовал, а она все шептала:

– Мальчик… мальчик… что ты делаешь, мальчик?..

Теплые, огромные ладони, поднимаясь и опускаясь по ее телу, запаковывали ее в необычное светлое чувство. Она точно знала, это не любовь, точно знала, это не плотское, хотя было похожее на то и другое, но совершенно отдельное, которое только еще искало себе имя. Она хотела мужчину. И ей не надо ничего придумывать, не надо боготворить его, не надо оправдываться высокими словами – никаких слов, извинений или оправданий. Перед ней был тот, который нужен сейчас: молодой, сильный, красивый. Сейчас, а не на всю жизнь – и не надо к нему привыкать. Она гладила его тело, как добротную ткань в магазине, отмечая фактуру и выделку. Тонкие злые губы, дневная щетина на лице, выступающая родинка на плече, сухая трава волос на груди, красноватый прыщик – вот география этого тела, а она Колумб, Васко да Гама, прямолинейный и упрямый исследователь, которому не стыдно спросить: как вы здесь живете, пигмеи, кто заваривает вам чай по утрам, как вы чистите зубы, как трете кожу в ванной, что за фотографии висят на стене и, наконец, что любит ваш оципанный ангел, входящий в меня? Два тела, соприкасаясь, искали самые важные чувствительные места. Он брал ее тяжелую грудь и наслаждался ее формой, весом, плотной коричневой кожей соска…

Он зажал ей рот, когда она стала кричать. А когда все кончилось и они лежали на спинах рядом, слегка соприкасаясь ногами, Вольнов сказал:

– Кричишь, будто в чистом поле…

– Ты же хотел услышать. Услышал?

– В моей жизни так еще никто…

Они лежали молча. Рыжая кошка вспрыгнула на кровать и, медленно, осторожно ступая по одеялу, дошла до лица и уставилась прямо в глаза Людмиле. Бессмысленный, инфернальный кошачий взгляд она долго чувствовала в темноте.

– Брысь, Маруся, – цыкнул Вольнов.

12

Теперь она была молодой, красивой женщиной с «ошеломляющим бюстом», как написал ей «оптик-шлифовщик Савельев Иван Гаврилович, цех № 7», так, во всяком случае, он именовался в своей библиотечной карточке. Она это хорошо запомнила, и хотя Савельев ей активно не нравился – худой, высокий, с растрепанными, длинными и сальными волосами, – но слова он выбирал всегда самые неожиданные, да и вообще был единственный из посетителей заводской библиотеки, кто, не стесняясь, приносил цветы к праздникам и говорил всегда что-то нелепое, но трогательное, запоминающееся. На Восьмое марта он принес три ободраных красных тюльпана и на открытке написал: «Вы, Людмила Ивановна, своим ошеломляющим бюстом приносите к нам на завод Солнце и Весну. Только не увольняйтесь и работайте. С праздником Восьмое марта. Иван Савельев».

Марина Исааковна Шапиро, заведующая библиотекой и музеем Второго оптико-механического завода, когда увидела, как Тулупова рвет поздравительную открытку, сказала:

– Милочка, ну что вы так расстроились, что такого написал наш Ванечка?! Что, «азохн вей», может написать такого пролетарий?!

– Марина Исааковна, ну вы посмотрите!

– Теперь уже не посмотрю, – сказала Марина Исааковна и показала на клочки в мусорной корзине.

Тулупова быстро их достала, собрала открытку на столе и еще раз прочитала вслух с выражением, показывающим всю мерзость написанного.

Но почему-то получилось не очень.

– Вот видишь, – сказала Марина Исааковна, – ты хотела прочитать с отвращением, а не вышло. «Ошеломляющий бюст» с отвращением и уничижением прочитать нельзя, тут даже мой любимый Аркадий Исаакович Райкин не справился бы. Если это прочитать так нельзя, то и ничего плохого тут не написано. Возьми любое слово, любое предложение...

Рядом лежали еще не разобранные по папкам газеты, и Людмила с лету прочитала: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

– Ты сама выбрала. Моя мама-коммунистка тебя сразу бы расстреляла. Так вот представь, что тараканы ползут и ползут, из всех щелей ползут, и вот они соединяются в кучу, такую кучу, кучу огромную, грязную, они уже везде были, в таком дерьме... и теперь прочитай...

Людмила прочитала, коверкая:

– Проле-еетарии все-е-х-х стран, соединя-я-я-яйтесь.

– Пролетарии всех стран, соединяйтесь, – еще более мерзко сактерствовала Марина Исааковна. – Вот видишь. Это полезно, как кефир на ночь. «Ошеломляющий бюст» – это песня мужчины, его зов к прamatери, как сказал бы Розанов.

– Ну, так любое хамство надо пропускать мимо ушей?! «Не увольняйтесь, работайте» – он что, сюда на мой... – Тулупова запнулась, – бюст глазеть приходит, а не книги в библиотеке брать?

– Не брать, а читать, – тут же методично поправила Шапиро, с этим словом она боролась с первого дня работы Тулуповой, и продолжила: – Милочка, зачем он приходит, не важно! Важно, что он видит тебя и до конца своих дней будет помнить, что у него на заводе в библиотеке работала такая умопомрачительная женщина, как ты, с таким «ошеломляющим бюстом», что – я не знаю! И ты пойми – об этом он вспомнит даже в Лондонской Королевской библиотеке, если когда-нибудь там окажется! Бюст. Это счастье! Это не мои два жалких прыща!

13

Сергей.

Эта история началась, когда ее детям было девять и семь и она уже лет пять отработала «в культурном отсеке невсплывающей подводной лодки», так Марина Шапиро называла свой небольшой коллектив из трех человек: сама – заведующая библиотекой и по совместительству директор заводского музея, рядовой библиотекарь Тулупова и «журналист широкого профиля», как про себя говорила, подруга Марины Исааковны, «женщина постоянно на выданье», вдова и балагур Юля Львовна Смирнова, по штатному расписанию главный редактор и единственный журналист заводской многотиражки. Эти две женщины были почти на двадцать лет старше Людмилы и по одному классификатору проходили бы как несчастные жертвы тоталитарного режима, а по другому – они были птицы. Не воробы, но близкой к ним породы. Свободные, неприхотливые, не мечтающие о перелетах в теплые страны птицы.

Мать Марины Исааковны из старых большевичек, всю жизнь проработала в органах переводчицей с немецкого, никогда не позволяла себе ни одного лишнего слова, никаких сомнительных тем и дружб, зато ее дочь Марина, вставшая на крыло в хрущевскую оттепель, позволяла себе это в полной мере. Она не рвалась наверх, не делала карьеру, говорила всегда, что думала, а в любовниках держала непризнанных художников, поэтов, писателей и режиссеров. «Я их вскармливаю и развозжу, как павлинов, – говорила она. – Как только они становятся известными, они покупают себе пыжиковую шапку, мне оставляют свои по-о-этические портреты, в масле, стихах и прозе, и уходят от меня. К… большевикам. Редко продают Родину. Надо бы чаще. Но, продав, писем из Парижа категорически не пишут».

Юля Львовна была женщиной одного мужчины. Он был физик-теоретик, сухой, вежливый и, как считала Людмила Тулупова, неинтересный, но интеллигентный. Такое сочетание действительно иногда бывает, но не в этом случае. Мирон был физиком от бога и человеком совсем нескучным, но на него надо было попасть, как на редкий спектакль.

Тулупова, как только устроилась работать, видела его несколько раз, он приезжал за Юлей на «москвиче», вместе с ним они отмечали один из первых Новых годов в библиотеке, но на его бенефис она не попала, хотя в тот единственный вечер Мирон пел под гитару. Тулупова это запомнила. А потом он умер. Мила на похороны не пошла – двое детей, она одна; жила в автоматическом режиме – приземлялась ночью на кровать, моментально переходя в режим сна без сновидений. Юлия Львовна потерю мужа переживала глубоко и остро, только Шапиро не давала забывать ей, что она «интересная женщина», и все время призывала к новому браку. Так Юля стала – «женщиной постоянно на выданье» и по-прежнему выпускала раз в неделю четырехполосную газету «Красный оптик». Она писала о результатах социалистического соревнования по цехам, интервью с рабочими, руководством завода, портреты передовиков. Праздничные выпуски содержали юмор и анекдоты, которые поставляла Марина Исааковна Шапиро. Конечно, еврейские в газету не попадали, но за несколько дней перед праздничным номером библиотека разрывалась от хохота. Публиковался самый безобидный и не очень смешной анекдот, но претенденты были по-настоящему хороши.

Заводская библиотека. Тишина, фикусы по углам. Ежедневные чаепития с тортиками, которые возникали как-то сами собой, – от бухгалтерии, от кадровиков, от благодарных читателей. Разговоры о театрах и книгах, о политике и любви… и отдельный Людмилин номер – воспоминания о Червонопартизанске, которые так любили Марина Исааковна и Юлия Львовна. Все это была библиотечная жизнь. В этом общении, как в стиральной машине, где-то с трудом, но всегда без видимого пота замачивалась, счищалась и отмывалась провинциальная Людмилина наивность, глупость, иногда грязь. Тулупова постепенно и незаметно для себя самой превращалась в москвичку, человека, который если не знал и не видел, то слышал. Слышал о

диссидентах, об авангарде, о сумасшедших художниках, о театре, о писателях, о невероятном американском, японском, европейском кино, о контрамарках, о приставном стуле на театральной премьере, о привезенном на день спектакле и выставке на дому. Без потребности и привязанности, но по разу она побывала на шумном прогоне в нескольких модных московских театрах, сходила на выставку в какой-то общарпанный подвал, увешанный абстрактной живописью, посмотрела несколько закрытых фильмов. Часто она не понимала, ей не нравилось, она рассказывала о своих неприятных впечатлениях в культурном отсеке невсплывающей подводной лодки, но там ее не переубеждали, не объясняли, просто Марина Исааковна говорила:

– Милочка, сходи на эту глупость несусветную, а с твоими карапузами посижу я.

Когда приходила Юлия Львовна, она объясняла:

– Я Милу сегодня отпустила на культурные блядки, а отпусти на некультурные? – И сама себе отвечала на риторический вопрос: – Она еще одного красивого ребеночка принесет. Нам уже много будет.

В общем, когда Тулупова познакомилась с Сергеем, она уже знала не только как дети рождаются, но и, самое главное, как они не рождаются.

Осень. Сентябрь. Сын пошел в первый класс. Клара – в третий.

Тулупова отводила детей в школу: Клара вприпрыжку бежала впереди, а Сережу она держала за руку, – а потом возвращалась через парк. Часа два убиралась дома, стирала, готовила, а потом шла в библиотеку. Впервые за последние годы у нее появилось время, всего несколько часов, которые принадлежали только ей.

Утренние часы. Через белый тюль – солнце. Вымытые тарелки на кухне блестят. Она присядет на табуреточку, осмотрит свой скромный быт, и он ей вдруг так понравится. А иной раз сядет так же – и нет, совершенно иное впечатление, захочется чего-то добавить, купить, картинку повесить. И она об этом подумает: «Какая, где...» И буквально днями что-то происходит – то принесут, подарят чашку с блюдцем, календарь на стену или еще что-нибудь. И Людмила подумает, какая же она счастливая!

В эти утренние часы особенно хотелось любви. Она думала о мужчинах, и казалось, что ее женское счастье закончено, не начавшись. Она говорила себе: не у всех же получается, складывается, и надо уметь жить без любви, ведь живут же люди, и, кажется, даже неплохо. Главное – дети. Слава богу, почти ежедневно повторяла она, они ни в чем не виноваты, получились хорошие, здоровые, сильные, с характером. Она шла через парк и думала о счастье иметь свободное время, о счастье иметь рядом таких замечательных женщин: Марину Исааковну, которую она и про себя называла по имени-отчеству, и Юлю. Огромные корабельные сосны раскачивались, как бы заигрывая с солнечными лучами, то пропуская их на тропинки парка, то препрятствуя им дорогу. Она уже несколько дней так ходила, в одно и то же время, и почти всегда с соседней дорожки, ведущей от катка с искусственным льдом, шел мужчина. Иногда он выходил на нее чуть раньше, и тогда она шла за ним, иногда позже, и тогда она чувствовала его пристальный взгляд на спине. Через две недели они стали здороваться, просто потому, что иначе было нельзя. Он стал сниться по ночам, и когда ей надо было расслабиться, она представляла его. В какой-то момент она уже много раз с ним во сне занималась этим – любовью.

И вот дождь. Ливень. Она отвела детей в школу и решила все – последний день, пускай теперь сами ходят, мальчик уже привык, самостоятельный. Она бежит под зонтиком, перепрыгивает лужи, а с боковой дорожки он, Сережа, вымокший до нитки, тоже бежит, и она ему:

– Здравствуйте.

А он:

– Я к тебе под зонт.

– Да, – сказала она и удивилась своему быстрому согласию, а также тому, что он сразу – на «ты».

— Тогда нам уже не надо бежать, иначе мы вымокнем в ноль.

Он взял ее под руку и они, распределив зонт строго посередине, прижимаясь друг к другу, пошли медленно, перескакивая и обходя глубокие лужи.

Мужскую энергию она почувствовала сразу – в грубоватой, широкой ладони жил прожигающий луч. Они дошли до подъезда, и Сергей сказал, как бы даже не спрашивая согласия – это ее всегда потом удивляло, – не спрашивал, а просто говорил, что так будет, и все, без обсуждений и возражений:

– Ноги все мокрые. – Он посмотрел на ее летние туфли и свои черные размокшие башмаки. – Нам надо выпить водки, чтобы не заболеть. У тебя есть?

– У меня нет, – удивилась такому вопросу Людмила.

– Ты в какой квартире живешь?

Людмила назвала номер, а он, пообещав прийти через пять минут, побежал в винный магазин, прихватив ее зонтик:

– Он тебе не нужен – ты уже дома.

Она открыла холодильник – пусто. Не смогла вспомнить, чем сегодня кормила детей перед школой, – ничего не было. Кусочек сыра, его и на стол не порежешь. Масло сливочное. Соленые огурцы – кто-то ее угощал. «Они – сюда», – подумала она и почувствовала на языке соленую мякоть. Мила быстро нашла последние четыре картошки, почистила и поставила вариться. Красиво порезала черный хлеб, а из двух полных кусков вырезала мякиш и положила на сковородку, добавив сливочного масла, обжарила и в середину вылила по яйцу. Сверху потерла остатки сыра. На глазах стол получился из ничего. Маленькая кухонька моментально преобразилась. Рюмки, порезанные огурцы, «черняшка», яйца, в кастрюле картошка уже закипала – его не было.

Звонок был характерный, бодрый, требовательный, даже капризный, именно такой, каким был ворвавшийся в ее квартиру и жизнь Сергей Осипович Авдеев, работавший тогда сменным технологом на холодильной установке катка с искусственным льдом, принадлежавшего заводу. Авдеев дежурил, меняясь с напарником, по собственному графику – как договаривались, отмечая часы, проведенные в полуподвалном помещении компрессорной. Все это он рассказал почти сразу после того, как увидел накрытый стол:

– Ты даешь!

– Говорят: коль пошла такая пьяница – режь в доме последний огурец. Это про меня. Больше ничего нет!

– Как нет! Все есть! Ты – есть! Я – есть! За знакомство! Наливай!

Они выпили. И он стал рассказывать о себе, о холодильных установках, о матери, с которой живет, о своем взгляде на жизнь, о заработках, о том, почему он не любит Горбачева и не верит ему. Ей показалось это совсем нескучным, она умела слушать, и через час знала о тридцатирехлетнем мужчине все. Почти. Она смотрела на него, и ей было приятно, что в ее доме – мужчина, что он сидит, ест, говорит, хвалит ее картошку, яичницу с черным хлебом. Она залюбовалась им, как занесенным и поставленным к стенке новым шкафом – еще по ящикам ничего не разложено, на плечики не повешено, а стоит хорошо, красиво, к месту. Потом он легко спросил о единственном, что, как ему представлялось, точно не знал о ней:

– Все на тебя смотрел – не запомнил: у тебя мальчик или девочка?

И Людмила Тулупова его огорчила, тут же прочитав его реакцию на лице. Спустя годы Авдеев ей об этом сказал – так и было.

– Мальчик твой тезка – Сергей. А девочка – Клара.

– Карл у Клары украл кораллы, – как на автоответчике выпалил он.

– У меня двое детей! – зло сказала Тулупова и добавила: – Двое. С Карлом было бы трое.

Она не раз видела мужчин, которые, узнав, что у нее двое детей, теряли к ней интерес, но Авдеев взял себя в руки. И для него эта новость многое меняла, хотя на самом деле не

должна менять ничего. Он не строил планов, просто шел за ней по парку после смены, смотрел и думал, что вот, идет красивая женщина с впечатляющими формами, наверное, проводила ребенка в школу, скорее всего, одинока и каждый день тянет лямку, да и он – один и свободен. Ему показалось, что вся ее жизнь лежит перед ним как на ладони – известна и понятна. Несколько шагов – догнать, и все. Они познакомятся (а это когда-нибудь произойдет точно), но в разговоре ничего нового не узнает, разве что где работает, живет одна или с родителями, как зовут ребенка, которого отводят в школу…

– Ты знаешь, ты молодец, – начал он говорить, поднимая рюмку. – У тебя двое детей…

Она вставила:

– Погодки.

– Даже погодки.

– Мне надо на работу, – поторопила она, и это его завело.

– Позвони, что ты не придешь… отпросись.

– Я приду.

Новый шкаф почему-то хотелось сдать обратно в магазин.

– Ты не придешь, – почти по слогам отрезал Авдеев. – Отпросись. Но сейчас я выпью за твоих детей.

– Мне надо на работу…

– За детей. За моего тезку и Клару.

Они выпили.

– Нам надо идти, – настойчиво произнесла Тулупова.

– Еще, – сказал он и налил.

Она отрицательно покачала головой.

– Да. Да.

– Я не хмелюсь, ты напрасно на меня водку переводишь.

Сергей настаивал:

– Поднимай, поднимай…

Людмила взяла в руку рюмку.

– У тебя хорошие дети?

– У меня – хорошие! – твердо сказала Людмила и поняла, как ей приятно о них говорить, они будто стояли сейчас рядом и защищали ее. – Очень хорошие, любимые мои дети. Замечательные. Они уже скоро из школы придут, – добавила она и посмотрела на часы.

– Во сколько?

– Скоро.

– Как скоро?

– Нам надо идти – зачем спрашиваешь?

– Просто. Выпьем за них. Они такие же красивые, как ты. Я уверен.

Она промолчала.

– Ты пьяница?

– Просто хорошее настроение. Знакомство под дождем – хорошая примета, я считаю. Ты любишь дождь?

– Больше ни о чем не хочешь спросить? Тебя интересует только дождь? Да, он мне нравится, азохн вей!

– Что это такое – азохн вей?

– Это по-еврейски, восклицание, вроде «ну ты даешь». Или что-то в этом духе – «надо же». У меня завбилиотекой еврейка, и она всегда так… Рабочий пришел – попросил Кафку. Выдала. Она говорит: Кафку ему, азохн вей, это плохо кончится!

– Я спрашивал про дождь, без этих еврейских штучек.

– Мне нравится. Но не всякий. Мне нравится теплый дождь. А сегодня – холодный.

Авдеев подошел к ней, приподнял Людмилу со стула, взял ее голову в сухие песочные ладони и поцеловал сначала коротко и быстро, а потом будто занырнул в глубину. Она не ожидала, не сообразила, что происходит, просто будто солома загорелась в ней. Забытое или никогда не бывшее пробуждалось от этого длинного поцелуя. То ли удачно поставленного, сделанного, исполненного, то ли он сам таким вышел, как пьяный танец: разгульный, искренний и страстный. Людмила неожиданно вспомнила, как в конце весны искала пятилистный цветок сирени. Кто-то из читателей библиотеки срезал несколько веток перед сквером у проходной, рядом с памятником Ленину: «Чего пропадать красоте, сирень – ее чем больше срежешь, тем лучше отрастает, поставьте, девчонки». Читатель ушел, а она начала «искать счастье» и вдруг увидела: почти везде ей попадались по пять – пять, пять, еще пять. Она тогда подумала: это же какое счастье должно прийти?! Но как все, оказывается, просто: его губы, язык, его руки и были теми пятилистными цветками, которые обрушились на нее.

Она не запомнила, как они расстались.

Сергей сказал:

– Пошел. Ты мне нравишься. У тебя глаза – во!

И показал большой палец. Хлопнула дверь.

Она легла на кровать и только теперь почувствовала, насколько пьяна. На потолке солнечные лучи жили своей жизнью: перемещались, дрожали, меняли форму, тускнели, становились ярче.

Позвонила из библиотеки Шапиро:

– Мила, ты где? Что случилось? Как наши дети?

– Все正常ально, Марина Исааковна, я немного... голова, сейчас приду.

– Отлежись, а после трех приходи. Часок посиди и закрой библиотеку.

– А Юля Львовна там? – зачем-то спросила Тулупова.

– Она сегодня учит разговаривать камни. – Так Марина Шапиро называла интервью у высоких начальников, которые время от времени Смирнова брали для газеты. – Сегодня у нее заместитель министра – до трех, – болей!

Пришли из школы Сережа и Клара. Они ели макароны и охотно рассказывали: Сергей писал прописи, Кларе учительница сказала, что если она принесет справку с работы о зарплате, им дадут как малоимущим бесплатные обеды. И что скоро День учителя и надо внести деньги на подарок. При слове «деньги» Мила вздрогнула: опять! В три побежала в библиотеку, отсiedла до закрытия – никто не пришел. Потом был вечер. Ужин, уроки, разговоры, телевизор. И, укладывая детей, она тоже уснула. Проснулась в три часа ночи, будто что-то толкнуло – сразу чистая и ясная голова, спать не хочется, спокойствие, трезвость и желание, которое рядом, как человек за спиной, дышащий в затылок. Стоит и молчит. Как нищий, в первый раз пришедший на паперть: опустил глаза и робко протянул ладонь.

Встала, на кухне подогрела воду и заварила крепкий чай. Пока настаивался, положила перед собой зеркало и стала рассматривать свое лицо. «Все изменилось во мне за годы в Москве, – подумала она. – Только глаза, как были голубые, так и остались, но взгляд уже другой, с ним что-то стало... Есть ли еще что-нибудь червонопартизанское? Лицо правильное – нос, губы, но чего-то нет... вот у Исааковны такой нос». Она долго смотрела в зеркало, как старые люди смотрят в окно. Первые появившиеся морщинки удивляли своей изысканной, умело расписанной каллиграфией, но она боялась этой красоты. Людмила достала из сумки косметичку, выгребла на стол небогатый ассортимент, нашла тушь и, налив крепкого чая, отпивая по глотку, стала подкрашивать ресницы. С каждым мазком щеточки они становились все длиннее и длиннее и вскоре наростили, как у пластмассовой куклы: обвела глаза карандашом, добавила тени и кокетливо заморгала. Обжигающие соблазнительные голубые глаза – она, может быть, впервые увидела их такими.

– Вот теперь действительно «во» – произнесла она вслух.

«Что он во мне нашел? – Еще раз похлопала накрашенными ресницами, и стал совершенно понятен ответ. – И еще моя грудь. Ему она нравится. Марина Исааковна говорит, она всегда делает свое дело, нравится рабочему классу нашей родины».

Тулупова стала думать об Авдееве, впрочем, думала весь день: когда готовила еду, когда разговаривала с детьми, когда сидела в библиотеке, Авдеев все время был рядом, но теперь она подумала о нем как о Нем. Как о том мужчине, которого хотелось прижать к груди и погладить. Хотелось водить рукой по голове, рукам, телу. Она вспомнила парк, тропинку, по которой он ходил, вспомнила шаги за спиной – теперь она видела его жадный взгляд на себе, и хотелось отдать ему все, что ему надо. Именно ему – ей ничего не нужно, достаточно сладкого желания наполнить собой, вручить ему себя, бери, делай что хочешь, владей. Она шевельнула длинным веером накрашенных ресниц, приглашая его идти за ней. Зеркало вдруг заговорило: она увидела и почувствовала силу своего взгляда, своего женского нутра. Где это раньше было спрятано, где позабыто?

Ей захотелось добавить еще краски. Густо плонув на щеточку для ресниц, растерев в прямоугольнике дешевой туши «Театральная», она сделала еще несколько мазков. Прибавила теней. Обвела карандашом контуры губ, и на нее смотрела уже другая женщина, принимающая всех подряд. Она подробно разглядела себя и в этом образе. Он был тоже – ее. «Я могу быть такой, – подумала она. – Может, я и есть такая, если так его жду?»

Маленькая наивная голубоглазая девочка бежит, уходит, скрывается за горизонт, превращается в луч, в светлую точку в глубине картины.

«Как стыдно хотеть! Так хотеть! Ему надо обязательно сказать, что я не ищу детям отца, совсем не ищу. Как это унизительно, хотеть мужчину! Неужели им тоже так унизительно хотеть нас?»

Неожиданно на кончике языка со сладкой горчинкой возникло слово «любовь». В ее жизни всего несколько раз оно возникало, и никогда не срывалась с ее губ легко «Что такое?! Я люблю его?» Произнесенное про себя, это слово обретало немыслимый вес. Теперь, как вылетевшая из клетки яркая птица, оно бессмысленно и хаотично порхало – летало в ее голове и по телу, принося болезненное возбуждение – физическое и духовное.

Так Тулупова до рассвета просидела на кухне. Она взглянула на часы, потом в зеркало и, прощально улыбнувшись гриму придорожной шлюшки, заставила себя встать и смыть в ванной с лица краску. Холодная вода возвратила ее к жизни: «...ничего не произошло, ничего не было, все идет, как идет». Перед тем как будить детей, у нее оставалось время, и она, успокоив себя тем, что делает это только для себя, нанесла, чуть больше обычного, тушь, положила тени и подвела губы.

Поставила чайник на плиту, приготовила бутерброды и пошла в комнату к детям. Они спали на двухъярусной кровати, распластав свои нерасцветшие тела. Было жалко разрушать эту блаженную, не поддающуюся слову красоту. Ночные переживания показались сущим пустяком. Она поцеловала сына и дочь, погладила по головкам, сказала, что пора вставать, умываться, чистить зубы и есть. Все и происходило в такой последовательности, только Сережа, придвигая тарелку с омлетом, не удержался и сказал:

– Мам, какая ты сегодня красивая, мам!

А девятилетняя Клара оценила ее как подруга:

– Тебе так и надо краситься. Больше. Тебе идет.

С тех пор Тулупова часто просила детей сказать, как она оделась, как выглядит. Но теперь Мила посмотрела на детей и мимолетно вспомнила – в который уже раз, – как ее все отговаривали оставлять второго ребенка. Она никого не послушала, и вот сейчас они сидят двое, завтракают, пихают друг друга ногами под столом и рассуждают об ее красоте.

– Ну, все, вогнали в краску. Хватит! Я стесняюсь. Время! Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно...

Втроем вышли на улицу и знакомой дорогой двинулись через парк. Дети впереди, а она поотстала. На пересечении тропинок стоял Сергей – она его заметила издали. Прошли мимо, но Сергей проводил их взглядом, который невозможно было не почувствовать. Дочь спросила:

– Мама, а это кто? Он на тебя так смотрит!

– Не знаю. Наверное, я ему понравилась.

У школьного забора Людмила поцеловала детей, чего обычно не делала. Считала, что, воспитывая их без отца, должна быть последовательной и строгой, но в тот день все вышло иначе. Дети втекли с потоком учеников в типовой прямоугольник школы, а она чуть отошла в сторону, остановилась, пытаясь мучительно вспомнить придуманное ночью – что должна сказать ему сейчас. Вспомнила и уверенно пошла по тропинке обратно к дому. Авдеев ждал на том же месте.

– Я должна тебе сказать, что не ищу им отца. Понимаешь?

– Понимаю.

Авдеев взял ее за руку и притянул к себе.

– Все. Ты молчишь, – сказал он и поцеловал в губы.

– Здесь родительский комитет ходит…

– Иди, – сказал он.

– Куда?

Авдеев повел ее к стадиону с катком, где работал.

– Я мастер по холоду, но вообще-то горячий, – пошутил он, когда они, минуя проходную и классическую вахтершу – старушку с вязаньем, прошли через служебный вход.

– Давай напрямую, – предложил Сергей, открывая бортик хоккейного поля. – Только осторожно.

И они заскользили, не отрывая ног от белого, глянцевого льда.

– Вообще-то это запрещается…

Людмила шла по льду с ощущением, что здесь можно не только упасть, но и провалиться, будто реку переходила по первой неокрепшей ледяной корке. Скупой свет дежурных фонарей придавал их скольжению знаковый смысл – ее переводили на другой, неизвестный ей берег, она боялась, но доверилась этому мужчине, а дальше запретила себе рассуждать. Затем, пригибаясь и переступая через металлические конструкции, они двигались под трибунами катка и неожиданно свернули в коридор, а там в боковую дверь с табличкой: «Компрессорная».

Сергей закрыл дверь на щеколду, и она поняла – пришли.

Мерный шум работающих насосов, колеблющиеся стрелки датчиков, трубы под потолком – большой технический подвал, а в середине старый письменный стол, несколько таких же стульев и продавленный диван. Людмила поняла, что это будет здесь. Сергей быстро развернул стол, так, чтобы за него можно было сесть с двух сторон, постелил две белые салфетки, достал бутылку советского шампанского, коробку конфет и, разлив по чайным чашкам вино, тихо и как бы сознательно невыразительно, без пафоса сказал:

– Я хочу тебя. Все!

Дальше Мила ничего не помнила. Ощущение первого и единственного раза – так не было никогда. Ему можно все. Она верила и молчанию, и словам, и пылкой настойчивости. Это было долгое счастье, нестерпимо долгое, она прикрыла ладонью рот, чтобы не кричать, но он с силой оторвал руку от губ и приказал:

– Кричи, не бойся, кричи! Кричи! Кричи!!!

И крикнул сам, выбрав для этого какую-то несуществующую в языке букву, звук.

Она закричала так, как кричат от боли, нехватки пространства, красоты, от безлюдья, как кричат в лесу потерявшееся дети. Не хватало воздуха. Казалось, стрелки манометров в компрессорной теперь дрожат от ее крика.

Он долго не давал ей одеться. Она даже мерзла, поднимая при тостах нелепые чайные чашки в цветочек. Он говорил об ее теле, красоте, но она не понимала слов. Если бы он это знал, мог бы не стараться – «да» и «нет» сейчас имели одинаковый смысл.

А затем Авдеев открыл ящик письменного стола и высыпал оттуда невероятное количество солдатиков, сотню или больше, – одни оловянные, вернее, свинцовые потертые советские воины времен Второй мировой, другие деревянные Наполеоновских войн, знаменосцы, кавалеристы, оркестранты. Он расставил фигурки в полки и роты, убрав со стола пустую бутылку, и начал рассказывать. Это было какое-то чудо: мужчина, превращающийся в мальчика. Она подошла к нему, прижала к груди и сказала:

– Ты меня любишь, мальчик мой...

– Да, люблю, – не отрываясь от построенных в ряды фигур, ответил Авдеев.

Дорогой Павлик, я, наверное, тебе зря все это писала раньше. Теперь это, наверное, последнее мое письмо. Последнее. С этим надо кончать. Я все понимаю. Все. Не плачь, Павлик, не плачь. Мне всегда хотелось чего-то чистого, открытого. Я верила в это. Верила, что так и должно быть в жизни. Но я не понимала ничего. Я думала, что это ты и есть и я должна искать в жизни тебя, Павлик, такого, как ты, чистого и светлого. Мой первый, мой самый первый мальчик, сегодня, мой друг, любовь моя первая, я больше не могу притворяться, потому что не смогу объяснить тебе, что такое взрослая любовь, которая пришла только сейчас. Как сказать тебе, что есть темное и грязное, и оно другое, совсем другое, чем то, что было у тебя.

У нас с тобой. Мне уже за тридцать, у меня двое детей, ты это знаешь, я писала, когда все это было с мужем моим вертолетным, но только теперь я стала женщиной, и как здорово об этом кричать. Я сижу сейчас на кухне, дети спят, после каждого написанного слова я молча думаю о том, что было до и после. Не знаю, как написать. Чувства все же остаются чувствами. Ты понимаешь, Павлик, я так привыкла писать в эту тетрадь. Я тебе там мешаю? Но я привыкла рассуждать с тобой вместе, потому что мы были одной крови. Мать рассказывала, как мы играли с тобой на ковре, и вот теперь я не знаю, как рассказать. Это было в какой-то кочегарке, но это так было! Когда ступила на лед, мы шли туда через искусственный лед. Такая тишина. Холод, как в шахте, я как будто через какую-то реку вброд шла. Не подходит ли здесь слово «красиво»? Или какие еще есть слова? Помнишь, я написала в этой тетрадке: «Павлик, поздравь меня, сегодня я родила девочку». И все. И все сказано. Вот и теперь так. Я сейчас вспомнила Червонопартизанск, и он стал другим, я его сейчас вспоминаю первый раз с теплом. Вот всех помню, всех сволочей, гестаповцев, и думаю, что они очень нежные добрые люди, им надо только ходить голыми и не бояться своего тела. Я могу быть счастлива. В этой грязи, в этой кочегарке, здесь, ничего еще не потеряно. Жизнь. Я настоящая женщина. Настоящая. Самая. Настоящая. Я знаю теперь, для чего существуют мужчины и женщины. Вот так, Павлик. Настоящая. Прости.

У него такие солдатики! Он их собирает. Из того, что я тебе тут написала, только это должно быть тебе понятно.

14

– Что молчишь, Мил? Тебе хорошо со мной?

– Я привыкаю к твоему имени. В постели почему-то имена звучат по-другому. Мне это так странно – Коля. Николай. Тебя всегда так звали?

– А как еще?

– Ну, как-то… Микола, может, или еще как…

– Я всегда – Николай. В школе звали Почтарь – голубями занимался, у меня была, наверное, самая последняя голубятня в Москве, в Сокольниках. Теперь привыкаю, когда называют Николай Сергеевич.

– Странно. Николай. Я – Мила. – Она повернулась к нему лицом. – И мы – тут.

– А где еще? – спросил он, хотя и ему самому это всегда было удивительно: тела всегда так быстро находят друг друга, доверяясь каким-то непонятным, не зависимым от разума измерениям.

– Сначала ты должен был мне понравиться, мы должны с тобой долго встречаться и только потом… Я всегда думала, что должно быть так. И знаешь, никогда не получалось, – говорила она, продолжая его разглядывать. – А что это у тебя здесь?

– Шрам. Я в прошлом спортсмен, гимнаст, но вот руку сломал. Сильно. *И со спортом – конец.* Не считая жены.

– Что, значит, «не считая жены». Жена – это спорт?

– С ней – да. Только спорт. Ради спорта.

– Не понимаю.

– И не поймешь, этого понять нельзя. Я сам не понимаю.

Эта тема раздражала его, он встал с кровати. Она увидела в проеме окна силуэт плотной мужской фигуры. Николай поставил диск в музыкальном центре. Подсветка из приемника подкрасила комнату синим цветом.

– Я пойду в душ.

– Ты торопишься меня смыть?

Он подошел к кровати, где она лежала, поцеловал и сказал:

– Нет. Тебя смывать не хочу. Приходи ко мне.

Мила осталась одна и только теперь осмотрелась. На всех стенах горизонтально и вертикально, специальными приспособлениями были пристегнуты лыжи, и на каждой паре висела табличка, где, когда, на каких соревнованиях эта пара принесла ее обладательнице ту или иную медаль.

У изголовья кровати крепились маленькие детские лыжи с забытыми креплениями на черных резинках. Людмила вспомнила – у нее в детстве были точно такие. В Червонопартизанске снег то выпадет, то растает, и от зимних уроков физкультуры у нее осталось одна картинка – пронизывающий ветер, она несет лыжи и портфель. Лыжи выпадают из рук, с загнутых концов кольца на палках спадают, разлетаются в разные стороны, она пытается их закрепить снова и снова, и так с мучениями доходит до школы. Там узнает, что урок отменяется. Лыжи хочется бросить, сломать, но их так долго доставал отец, а потом, сверяя каждое свое действие с клочком инструкции, устанавливал крепления, что они становились тем, без чего жить нельзя. На следующей неделе все повторялось, урок опять отменяли, а потом кончалась короткая украинская зима. Иногда на лыжи она так и не становилась ни разу, только носила их туда и обратно все три месяца.

Мила встала с кровати, завернулась в одеяло, подошла к стене и прочитала первую попавшуюся табличку на лыжной паре: «1998 год. Финляндия. Чемпионат Европы. 15 км. Гонка пре-

следования. Бронзовая медаль». За этой надписью был целый незнакомый мир. Она поняла, что заглянула туда, где не могла оказаться никак и никогда.

Кошка Маруся проскользнула мимо ее ног, задев как бы случайно хвостом, напоминая, зачем она здесь. Мила вышла в коридор и приоткрыла дверь в ванную. Николай стоял за прозрачной занавеской, и теплая вода скатывалась по телу.

– Ну, куда ты делась? Залезай сюда!

– Там столько лыж, – сказала она, заходя под горячую струю воды. – Музей.

– Да, одни лыжи...

– Она кто?

– Светлана Кулакова.

– Кажется, слышала такую фамилию. Но ты-то Вольнов.

– Когда я с ней познакомился, она была начинающая спортсменка, молодежные игры выиграла, считалось это большое достижение. Она думала, что имя уже есть, ее знают. Поженились и решили не менять фамилии.

– И что потом?

– Ничего, сейчас в Словакии...

– ...а ты со мной. Почему?

– Тебе это интересно? – спросил Вольнов.

– А почему нет?

– Пожалуйста: сначала я преуспевающий спортивный журналист, она – молодая лыжница, призер, вот-вот войдет в сборную. Общие интересы. Дома – кто кого на каком кругу обставил, мазь, крепления, диеты, тренеры, стратегия гонки, интриги, спорткомитет, премиальные... От турнира к турниру, каждый день. Ее победы – мои. А потом – раз, из сборной выкинули, результаты не пошли. Тренер свою жену стал тянуть. И говорить не о чем. На кухне сидим, вилки бьются о тарелки – финиш.

– Но сейчас она...

– Сейчас она – да! Все снова в порядке. У лыжниц втройе дыхание открывается после родов. Родят и еще могут бегать чуть ли не до пятидесяти.

– Ну...

– Вот и родили Ванечку. Для лыж. Специально. Отдала его теще, а сама бегает. Заедет, отдохнет, очередную пару на стенку повесим, навестим ребенка и снова километры накручивать. Интересно?

– Очень.

– А мне нет.

– Ты ее любишь?

– Сегодня – только тебя.

– А завтра?

– Завтра, пожалуй, тоже тебя...

– Иди ко мне, мальчик... Тебя пожалеть?

– Как хочешь.

Долго стояли под душем, как бы промокая в этом разговоре о себе, а затем Вольнов неожиданно спросил:

– Тебе в библиотеке не скучно?

– Мне нет. Я работала в сборочном цеху и была беременна. У меня живот был... Меня перевели в библиотеку. На время. А оказалось, навсегда. И там началась жизнь. Была одна женщина. Вернее две. Две женщины. Одна еврейка ярко выраженная, другая... просто Юля Смирнова. Ты меня гладишь, я не могу сосредоточиться.

– Что хочешь сказать?

– Они мне помогли. Все мне рассказали. Не дали пропасть. Тебе это интересно?

– Интересно.

– А мне теперь почему-то не очень.

– Всегда получается как-то странно: нам, русским, помогают евреи. Они как-то присматривают за нами, что ли, чтобы мы ничего не натворили. У меня тоже была одна еврейская женщина в десятом классе, она была старше меня лет на семь, тогда это казалось много... – Вольнов на секунду задумался, что-то вспоминая. – В общем, она такая была... хотя роман был всего месяца два-три не больше... Тебе это интересно?

– Кажется, не очень. Я не люблю эту тему. У тебя такое душистое мыло!

– Мыло – отличное, оно из Израиля, кстати.

И оба улыбнулись, каждый своей еврейской истории в жизни.

15

Теперь день начинался с того, что в библиотеке Тулупова сразу после включения общего света отдергивала штору (с первого дня работы это было у нее отлаженным деловым ритуалом настоящей хозяйки), нажимала кнопку компьютера и, дождавшись его полной загрузки и установки необходимых соединений, заходила на постыдный сайт. Если неподалеку находилась помощница, студентка из Гомеля Машуня, Людмила обходила компьютер стороной, но чувствовала, как ее тянет к окну сообщений на своей странице.

После того первого свидания Вольнов не позвонил и не написал ни разу. Будто ничего не было. А Людмила про себя повторяла успокаивающий текст: «Ничего не было, ничего не было. Ничего не искала, поэтому ничего не нашла». И думала, что это просто такая игра, взрослая игра – нечего от нее что-то ждать, надеяться, искать. Все смешно, и только.

«Мне было хорошо? – спрашивала она сама себя. – Отрицать это бессмысленно. Бес-смыс-лен-но. Точка».

Но поставить ее оказалось сложнее.

Она не ждала признаний от Вольнова, сама не испытывала влюбленности, переживала только оттого, что не было слов. Любых. Она думала о том, что женщины и мужчины очень разные существа, ей почему-то хочется слов, а ему, видимо, нет.

Приходили студенты, искали на полках партитуры и учебники, и их шныряющие между стеллажами фигуры самим своим присутствием что-то подтверждали и доказывали: и среди прямых линий расставленных по алфавиту книг можно легко заблудиться, и вопросов можно задать на пустом месте тысячу.

«Людмила Ивановна, а есть Брамс для русских народных инструментов?» И она искала несуществующего Брамса для балалайки с оркестром, а потом, когда студенты разбегались по лекциям и музыкальным классам, открывала сайт и всматривалась в любительские фотографии из мужских альбомов. Хотелось понять «про них», хотя в ее возрасте, она считала, тема должна быть полностью исчерпана.

Так в тот день она набрала в поисковике: «Разница между женщиной и мужчиной». Нашлось 4 миллиона страниц, на которых обсуждалась поразительная разница, и 516 тысяч запросов на эту тему за месяц. Тулупова, видимо, была 516 001-й. Она не предполагала, что существует столько разных взглядов и столько людей обсуждают эту тему на форумах в живых журналах. Маркетологи искали разницу в потреблении и спросе; психологи тестировали «чисто» женское и «чисто» мужское поведение; физиологи рассуждали о мужском и женском типе старения; каббалисты видели разницу в их душах, а не в тела; этнографы говорили о мужских и женских фетишизмах у разных народов; юмористы шутили, а вот она пытается найти свой ответ в фотографиях мужчин, разделенных по пояс или застегнутых на все пуговицы. Ей не удается почувствовать ничего, кроме таинства притяжения и отторжения одновременно и от желторотых мальчиков и от седых мужчин. Она вдруг вспомнила, как ее отец, когда она была в седьмом классе в Червонопартизанске, учил здороваться со старшими и объяснял, что «до конца своих дней должна зарубить себе на носу»: «здравствуйте» говорит более молодой по возрасту. И вот сейчас молодые и зрелые выстроены в один ряд – и ничего от того мира, в котором это «зарубка» имела хоть какой-нибудь смысл, не осталось. Выстроенные в квадраты фото рамок, все они ищут ее: «Познакомлюсь с женщиной с большой грудью». А она, обладательница этого вожделенного предмета, листает их фотоальбомы и не может понять, почему ее способность любить, ждать, заботиться до сих пор никем не обнаружена?

«Вот, например, этот черненький, здоровенный, метр восемьдесят пять, ищет большой бюст, тридцать пять лет. Не женат. Детей нет, но хочет. Есть иномарка, но какая – не пишет. Телефон – „Самсунг“. Зачем в анкете спрашивают про телефон? Нормальный вроде бы парень,

красивый. Профессия – следователь. Что ему здесь надо? Для Клары – жених. Наверное, ищет преступников каждый день, а здесь что ищет? Что ему? Моя выдающаяся грудь нужна, не моя, другая, но почему он на сайте? Разве нет теперь просто любви, обычной случайной встречи?»

Она набрала в поисковике – «любовь» – первые две буквы, и сразу же из компьютера вылетели остальные. Нажала «найти», и открылось сорок шесть миллионов страниц и почти три миллиона обращений в месяц. Она удивилась и цифре, и тому, что в первые строчки пробились сайты со стихами.

Людмила вспомнила, как девчонки в Червонопартизанске переписывали в общие тетради с коричневой kleenкой на обложке красивым почерком стихи и тексты песен. И соревновались, у кого больше. Теперь соревнование было бы заведомо проиграно – что десятки против миллионов? Обломки ушедшего детства, заслоненного взрослой жизнью, всколыхнулись в памяти: вот папа кричит, когда она первый раз пришла домой поздно, что выгонит ее, если принесет в подоле, вот мать – в первый и последний раз – произнесла слово «любовь», говоря про горько пьющего отца. Она как бы вздрогнула – не знала, что в их семье существует это слово, что оно, оказывается, давно пылится на каком-то чердаке, а не только поется во время семейных застолий. Вспомнила, что дни рождения не отмечали, но зато государственные праздники обязательно, вспомнила, как с пониманием переглядывались женщины, затягивая «про любовь». Но что пели, потерялось, ушло, только отдельные строки, несвязанные слова.

Она снова вернулась на сайт. Открыта была страница следователя. *И так* ей вдруг захотелось ему «подмигнуть», хотя она этого никогда не делала. И Людмила «клинула».

На другой день утром поехала вывозить книги из издательства Юргенсона, пришла на работу к обеду – за компьютером в пустой библиотеке сидела Машуня.

– Здравствуйте, Людмила Ивановна, – с какой-то бодрой, язвительной детской интонацией сказала она. – Тут на «Google» вы искали разницу между мужчиной и женщиной, вы что, не знаете?

Тулупова не сразу нашлась что ответить, но сделалось неприятно от того, что ее поймали на чем-то таком, что взрослую женщину, мать, заведующую библиотекой интересовать не должно.

– Маша, ты флейтистка? – сделав несколько шагов к столу, неожиданно спросила Тулупова.

– Да. А что?

– Ничего, Маша. Вот только не играй на мне. Это уже было. Шекспир всем не рекомендовал.

Студентка освободила место за столом, извинилась и вышла. Мила решила в тот день не заходить на сайт, не смешивать – после упоминания Шекспира – высокие чувства с низкими на сайте знакомств.

Вечером позвонила Фенечка – она набирала Тулупову довольно часто, всегда вовремя. Мила удивлялась ее интуиции и какой-то телепатической способности почувствовать горькую минуту, своей необязательной болтовней она приходила на помощь. Рассказала, что натолкнулась по ящику на черно-белое кино:

– …и там один мужик. Из начала. До революции еще, говорит: «Милая моя! Славная вы моя, восхитительная, моя женщина! Блаженство мое…» – уверенно проигрывала Фенечка увиденную сцену. – Сейчас только импотент так может сказать. Только импотент! А если он импотент, зачем это надо?! Мы для мужиков вообще превратились в сливной бачок – от них ни одного ласкового слова. Они все свое дермо в нас сливают, и сперму свою проклятую тоже! У меня мозга нет, но это точно.

– Надь, да есть у тебя мозг.

– Не говори мне об этом, а то я зазнаюсь.

Ночью, поговорив с Фенечкой, Мила достала старую общую тетрадь, полистала, почитала, а потом взяла ручку и написала сначала одно предложение, а подумав, второе и, может быть, через полчаса третье:

Дорогой Павлик, ты знаешь, все так изменилось.

Я любила, но меня не любили. Никогда.

Больше я сейчас написать ничего не могу.

16

Компрессорную Мила упорно называла кочегаркой – когда у него была смена, она приходила к нему. Однажды поймала себя на мысли, что на висящие по стенам календари, дома и в библиотеке, она смотрит, ставя невидимые крестики, помечая его дежурства. Он уже не встречал ее у тропинки, она сама сворачивала с асфальта и шла по осыпавшимся осенним листьям, позже уже через узко протоптанный снег, через лужи перепрыгивала и в жару – напрямую по траве. Желание и зависимость – эти два слова перевернули ее жизнь. Желание, когда она шла к нему, и зависимость, когда возвращалась. Это были две разные дороги, два сумасшедших маршрута, две колеи, из которых невозможно было вырваться. Перестала замечать деревья, солнце, ветер, только дождь и зонт, который приходилось иногда раскрывать, менял что-то, заставляя припомнить их первую романтическую встречу. Обычно ходила не по льду, а вдоль хоккейного борта, и вахтерша улыбаясь ей перестала, смотрела с осуждением – на все у них было не больше часа. Сергей быстро чмокал ее в подставленную щеку и начинал раздеваться, она – тоже.

– Почему тебе так жалко для меня слов?

– Мне не жалко. Я люблю тебя, – говорил он, но смотрел на часы и упоминал о сменщике, который может с минуты на минуту прийти.

Миле приходилось быстро влезать в белье, юбку или брюки, и три минуты оставалось на, как он говорил, «право и почетную обязанность» застегнуть ей бюстгальтер.

Однажды он спросил:

– Сколько весит твоя грудь?

Мила пожала плечами, но, уже зная его, поняла – это серьезно. Через несколько дней он принес старую сетку – авоську для картошки и безмен. Она отказывалась. Он настаивал. Специально припас водки, они выпили, и только тогда он узнал вес ее груди. Это было время мучительной физиологической зависимости, которая оскорбляла и принижала ее любовь, противоречила всем произнесенным словам «до», всем чувствам и всем книгам. Но без этой зависимости выходило, что и нет любви. Возвращаясь из кочегарки, Тулупова думала об этом, и всегда получалось, что виновата сама, что она должна все расставить иначе, все благородить, приподнять, объяснить ему нечто простое, что принесет в их отношения цветы и слова, что выпрямит их и возвысит. Она кричала от нестерпимой сладости, он добывал из нее этот крик, как на шахте это делают с углем. Этот дар голоса и нежности, открытый им, перекрывал все ее мысли о том, что должно быть и что не получилось. Она понимала, что пошла бы на преступление, лишь бы это не кончалось никогда.

– Я не знаю, когда это кончится, Марина Исааковна, – прочитала она сквозь слезы, когда случай заставил ее признаться Шапиро о встречах с Сергеем Авдеевым. – Когда мы с ним сможем как люди? Я ненавижу эти трубы, этот холодильник. Мне кажется, мы как какие-то пингвины, занимаемся этим внутри холодильника, в Антарктиде, морозильной камере, разве это нормально? Я ему говорю, а он объясняет, что негде. У меня вечером – дети, утром – дети. Он с матерью живет в однокомнатной. Я все ненавижу, я себя ненавижу…

– Не перебарщивай, Милочка, не перебарщивай. Мужчины и женщины существуют для этого. Его безудержный воин хороший

– Какой воин? – не поняла сразу Тулупова.

– Его воин?

– Ну, Марина Исааковна!

– А что Марина Исааковна должна тебя спросить? Как он относится к политике партии? В кочегарках работают либо поэты и музыканты, либо лентяи и трусы. Кто он? Ты не знаешь!

Я возьму детей к себе на каникулы, и ты сможешь понять. Приведи его к нам в библиотеку, я на него посмотрю.

- А как? Он не пойдет…
- Подумай. Он книжки читает?
- Русскую историю любит. Войну.
- Занятие опасное.
- Почему?

– Мила, ну кто занимается этим, кто?! Они хотят знать, что было в России до семнадцатого года, господи, я им расскажу: русские были – настоящие, евреи были – настоящие. А сейчас никто не знает, кто мы есть. В России историей занимаются не за тем, чтобы что-то узнать… Кем мы можем быть? Кем? Не можем знать и не знаем. Нет, ты не заводи эту тему. Приводи его, и все. Посмотрим, что он читает.

- Он не придет, – поставила точку Тулупова. – Нет…
- Без обмана – женщины нет.

Она и в детстве не ждала так каникул, как тогда. Авдееву не говорила ничего до самого последнего момента. Только один раз мечтательно произнесла, как бы в глубь Антарктиды:

- Сереж, я хочу с тобой провести не час, не два – дни, мы сможем…
- Ты знаешь, что нет. Как? – развел он руками.
- Скоро каникулы.
- Но дети…

Она увидела, что он даже не огорчен, его все устраивало.

Тулупова пыталась несколько раз привести его в библиотеку под ясные очи Шапиро и Смирновой. Заманивала историческими книжками, которые он мог взять домой, но Авдеев не соблазнялся, отвечал, что у него и так все есть, что он не записан, нет времени, не по пути, дела, и тогда Людмила напрямую сказала:

- Ну, разве тебе не интересно посмотреть, где я работаю?!
- Тулупова, я и так все про тебя знаю!

Она очень долго думала об этой фразе: «Что он обо мне знает, что он может знать, я ему ничего не рассказывала, видел детей, был несколько раз дома – все!» Казалось оскорбительным, что он, именно он, про нее что-то понимает. Если бы это сказала Шапиро или Юля Смирнова, было бы нормально, но он, мужчина, что он может знать, да еще так говорить? «Конечно, – думала она, – в женщине должна быть загадка, тайна, но почему он сказал так? Я не приговорена к этой кочегарке, какая там может быть тайна?» Это было какое-то оскорбительное знание, исчерпывающее всю ее, и он им как будто бы владел. Обдумывая их отношения, она чувствовала, что это противоречит любви, мешает ей, и Тулупова вдруг поняла, что сама про Сережу не знает ничего, совсем ничего.

До каникул в библиотеку Людмиле его затащить не удалось – ни хитростями, ни откровенным враньем. Шапиро спрашивала: «Когда твой историк придет?» Тулупова обманывала – он обещал зайти, хотя Авдеев сказал резко: «Кончай свои еврейские штучки».

17

А потом все обрушилось в один день.

«Я уверен, у той, у которой такая большая грудь, как ваша, должно быть и большое человеческое сердце», – написал следователь с сайта в ответ на подмаргивание Тулуповой.

Она написала ему: «У вас хорошее воображение. Надеюсь, не оно вам помогает ловить преступников».

Позвонил Вольнов. Сказал, что его срочно отправили на Универсиаду в Белград и там он две недели пропадал, тоскуя, потому что настоящего спорта не было, и он часто вспоминал ее.

– Давай встретимся. Я тебе перезвоню через час, – сказал он. – Договоримся где и во сколько.

Как только положила трубку, позвонил Хирсанов и сказал, что к ней в библиотеку он отправил машину с водителем, тот передаст ей цветы. А вечером они должны встретиться. Он тоже перезвонит еще. А сейчас его вызывают на совещание к руководителю Администрации президента.

– Ты знаешь, кто у нас руководитель Администрации? – спросил он.

– Нет, я ничего не понимаю в политике. Это так сложно...

Она почувствовала, как он на том конце провода растаял.

– Вечер, если ничего не случится, мой.

– Хорошо, – снова согласилась Людмила.

Ошарашенная звонками и неожиданно хлынувшими предложениями, в ожидании возмутительно роскошного букета, она спустилась вниз, к входу в институт, к охраннику. Постояла возле дверей – ей хотелось, чтобы цветы прошли в институт незамеченными, вернее, она не знала, что лучше: чтобы никто не знал или чтобы хоть кто-нибудь увидел. Она смотрела на охранника Олега, надеясь, что тот уйдет с поста, хотя бы ненадолго, но тот стоял и с рвением проверял студенческие билеты на входе.

– Людмила Ивановна, вы чего-нибудь хотите? – наконец спросил охранник.

«Господи, чего я хочу, чего я хочу?! Я хочу – „не хочу“», – подумала она и ответила:

– Ничего, Олег. Тут ко мне должны прийти, ты уж пропусти...

– Ради вас, – игриво ответил охранник.

«Господи, и этот туда же», – устало подумала она.

Когда поднималась к себе на второй этаж, в библиотеку, позвонил «француз» – так она называла Аркадия, переводчика с французского языка и преподавателя, дающего частные уроки. Сначала на сайте с ним была долгая, бессмысленная переписка по два слова. «Любите ли вы бывать на природе?» – «Да». – «Что для вас счастье?» – «Дети». – «А еще?» – «Не знаю». «Где бы вы хотели жить?» – «В Париже», – не задумываясь, чтобы отстал, ответила Тулупова, ну тут его прорвало. Попросил телефон – она дала. Он всегда был узнаваемо вежлив и учтив, часто вворачивал французские словечки, у Людмилы, как у всякого русского человека, не знающего языков, «француз» вызвал уважение и интерес. Это было похоже на знакомство с человеком, слетавшим в космос: он уже в невесомости, а ты – нет, и навсегда. После сдернутого железного занавеса – кстати, Тулуповой он совершенно не мешал – знание языков перестало быть возвышенным и утонченным. Но родовое пятно Червонопартизанска, где на весь город была одна учительница немецкого и та, как говорили дети, «лающая на немецком»: «дебан, ехемен, зеден, мезан», осталось одно: каждый владеющий иностранным языком – умный, и не просто умный, а умный-умный.

Тулупова подолгу разговаривала с французом по телефону, хотя говорил преимущественно он, и всегда было трудно оборвать разговор, но на этот раз пришло:

– Аркадий, я не могу сейчас разговаривать, у меня совещание, перезвоните позже.

Людмила нажала на кнопку отбоя и подумала, что врать про совещание приятно, это красиво, когда у тебя совещание. Это значит, что есть место, где твое мнение имеет значение и вес.

В этот день все имело отражение в зеркале. Она поднималась по ступенькам – и видела себя. Стояла перед охранником – и видела, как красиво стоит. Говорила – и слышала свой голос, как в записи на магнитофонной ленте. Видела, как ходят губы, когда она произносит слова, как поднимаются и опускаются брови, что-то происходит со щеками. Балерина в репетиционном зале машет ножкой, а краем глаза смотрит в разные зеркала, развешанные по всем стенам, так и она. *И ей все нравится* – все происходит, как задумано, она точнее говорит, жесты становятся по-режиссерски выстроеными. Она знала это состояние победы – несколько раз в жизни такое было.

Позвонила Клара и тоже добавила краски в тот день.

– Что, дочь?

– Сергей сказал, что сегодня его не будет дома, но у него деньги на телефоне кончились и он не может тебе позвонить, поэтому звоню я.

– Ладно. Я положу ему на счет. Тоже, скорее всего, приду попозже.

– Мам, у тебя кто-то появился? Ты не ночевала.

– На горизонте, только на горизонте.

– Ма, я тебя уважаю, ма! Люблю. Ты это…

– Конечно…

– Людмила Ивановна Тулупова – вы? – заглянув в дверь, спросил тучный, флегматичный и осторожный человек неопределенного возраста.

– Кла-кла, ко мне пришли, не могу разговаривать, – сказала Тулупова и, нажав отбой, обратилась к водителю Хирсанова – она сразу поняла, что пришли от него: – Да, это я.

– Я от Кирилла Леонардовича, он прислал букет, и вот записка.

– Спасибо, – поблагодарила Тулупова и увидела за спиной посыльного горящие любопытством глаза институтского охранника, который вызвался сопровождать доставку.

– Передайте ему, что этого больше делать не надо. Но, в общем, я сама ему скажу. Спасибо. – И добавила, уже обращаясь к Олегу: – Олег, проводите товарища из Администрации президента.

«Вот тебе, любопытное животное, все тебе надо знать и во всем участвовать, теперь поработай мальчиком на посылках!»

Когда мужчины ушли, Людмила развернула конверт с запиской:

«Дорогая Людмила, мне хотелось бы внести в вашу жизнь бесконечный яркий праздник, которого мы с Вами так долго ждем. Кирилл».

Ни один мускул не дрогнул на лице Тулуповой, она приняла это как должное, будто светская львица, ежедневно сотнями получающая подобные послания. Она скрылась за библиотечной стойкой и, освобождая розы от прозрачной упаковки, рассудила, что, наверное, им неплохо платят у президента, если он – еще ничего не было – раздаривает цветы женщинам с сайта знакомств.

18

Для Кирилла Хирсанова это была единственная приемлемая форма ухаживания, так было со всеми женщинами в его жизни. С самого начала, еще с одноклассницы Наташи Оле-ничевой в четвертом «В», когда стоял с тюльпанами возле ее подъезда (лепестки облетали от майского ветра – по детской наивности купил на рынке самые большие, открытые бутоны), и до седых волос он верил в красоту ухаживания. Это по замыслу, переданному ему свыше, должно сразить любую женщину наповал.

Он мог только так, иначе он не влюблялся.

Те, самые первые, тюльпаны стоили один, сэкономленный за счет школьных завтраков рубль, а эти розы для Людмилы Тулуповой не стоили ничего. Статья представительских расходов в Администрации была замечательно устроена, требовался минимум – найти соответствующего рангом юбиляра, вписать его фамилию, должность и подколоть чек. Хирсанов поработал на разных чиновничих должностях, и до перестройки и после, и всегда так было, он к этому привык. Молодым, в самом начале карьеры, работая в ЦК комсомола, он просто заказывал пропуск для своей новой пассии и вел ее в служебный буфет, который славился копейчными ценами. Накрывал стол дефицитом: икрой, осетриной, семгой, краковской колбасой отменного качества, – и у приглашенных девушек загорались глаза. Они таяли от мысли, что перспективный красавец, Кирилл, под звуки марша Мендельсона легко может достаться им в бесконечное и безмятежное семейное пользование. Но как радовался он сам, видя с жадностью опустошенные тарелки; как верный друг и соратник Маркса и Ленина, он наглядно перераспределял прибавочный продукт от богатых к бедным и гордился произведенным социальным переворотом! «Малоежки», те, что проваливали этот случайно выработанный жизнью тест, переставали интересовать его. Они без специального раствора превращались в женщин-невидимок: не имели ни фигуры, ни цвета глаз, ни запаха и даже бюста – его высоко ценил. Все имело значение только потом, после пройденного теста. Он умел радовать и хотел, чтобы его женщины радовались тому же и так же, как он, – искренне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.